



**Библиотека
Московской
школы
политических
исследований**

Библиотека Московской школы
политических исследований

Доминик Моизи

Редакционный совет:

А. Н. Мурашев

В. А. Найшуль

Е. М. Немировская

Ю. П. Сенокосов

А. Ю. Согомонов

М. Ю. Урнов

Геополитика ЭМОЦИЙ

Как культуры страха,
унижения и надежды
трансформируют мир

*Московская
Школа
Политических
Исследований*

2010

ББК 60.033.15

М 74

Перевод с английского Андрея Патрикеева

Художественное оформление серии *Андрея Бондаренко*

*Книга издана при поддержке Института «Открытое общество» (HESP),
Фонда Чарльза Стюарта Мотта, группы компаний «Рольф»,
ОАО «Трубная металлургическая компания»*

Моизи, Доминик

М 74 Геополитика эмоций. Как культуры страха, унижения и надежды трансформируют мир. Пер с англ. яз. (Dominique Moïsi. How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope Are Reshaping the World. Doublday, a division of Random House, Inc., New York, 2009). — М.: Московская школа политических исследований, 2010. — 216 с.

Книга известного французского политолога предлагает оригинальный, «провокационный» взгляд на современный мир, отличный от линейной теории истории Ф. Фукуямы или концепции «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона.

Миром управляют, по мнению автора, не рациональные идеи и нормативные принципы универсальных ценностей, а состояние самосознания, которое определяется тремя главными типами эмоций — страхом, унижением и надеждой. На условной эмоциональной карте мира в зону страха и кризиса идентичности попали США и Западная Европа, которые теряют доминирующее положение в мире. Напротив, преобладание культуры надежды, веры в лучшее будущее в ряде стран Азии обусловило их феноменальный рост. Переживание униженности, обделенности, свойственное исламскому миру, формирует его враждебность к «виновнику бед» — Западу. Россию с ее сложной историей и комбинацией всех трех типов эмоций автор относит к категории «сложных случаев» с неопределенным будущим. В предложенных в финале книги оптимистическом и пессимистическом сценариях будущего глобального мира концентрируется главный вывод: большинству стран и культур необходимо измениться, чтобы обрести надежду и преодолеть страх и унижение. Сохранение статус-кво — это путь к катастрофе.

ББК 60.033.15

Copyright © 2009 by Dominique Moïsi,
2009

© Московская школа политических
исследований, 2010

ISBN

*Посвящается памяти моего отца,
Жюля Моизи, узника номер 159721 в Освенциме,
который пережил невыносимые страх и унижение
и научил меня надежде*

Оглавление

<i>Предисловие к американскому изданию</i>	8
<i>Введение</i>	
Столкновение эмоций	13
<i>Глава первая</i>	
Глобализация, идентичность и эмоции	22
<i>Глава вторая</i>	
Культура надежды	48
<i>Глава третья</i>	
Культура унижения	80
<i>Глава четвертая</i>	
Культура страха	121
<i>Глава пятая</i>	
Трудные случаи	162
Мир в 2025 году	178
<i>Благодарности</i>	205
<i>Избранная библиография</i>	206
<i>Именной указатель</i>	211

Предисловие к американскому изданию

4 ноября 2008 года, как и миллионы людей во всем мире, я смотрел по телевизору празднование победы Барака Обамы на президентских выборах США в парке Гранта. Тот вечер был наполнен эмоциональными образами. Для меня ярчайшим символом этого праздника стали слезы радости на щеках священника Джесси Джексона. Это напомнило мне о другом событии почти двадцатилетней давности, когда великий русский музыкант Мстислав Ростропович, высланный со своей родины, играл на виолончели перед народом, праздновавшим разрушение Берлинской стены. Там были слезы торжества и примирения, слезы гармоничного слияния с миром, радости оттого, что мужчины и женщины способны изменить историю к лучшему, когда ими руководят здоровые эмоции.

Менее чем через месяц в городе Мумбаи, символе надежды для Индии, всюю проявились дурные эмоции, когда унижение обернулось жестоким террористическим актом. «Почему ты делаешь это с нами? — крикнул боевикам захваченный в заложники мужчина, которого собирались расстрелять. — Мы ничего вам не сделали».

«Помнишь о мечети Бабри?» — бросил в ответ боевик. Он имел в виду мечеть XVI века, построенную первым мусульманским императором Индии из династии моголов, разрушенную радикально настроенными индуистами в 1962 году. «Помнишь Годхру?» — спросил второй нападавший*. Он

* См.: India Security Faulted as Survivors Tell of Terror, Yaroslav Trofimov et al., // *Wall Street Journal*, 1 декабря 2008.

говорил о городе в индийском штате Гуджарат, где беспорядки на религиозной почве в 2002 г. закончились антимусульманским погромом. Этот случай, на мой взгляд, яркое свидетельство не нуждающегося в доказательствах влияния символов, в данном случае символов унижения, вызывающих эмоции и тем самым даже спустя столетия определяющих поведение людей.

Для многих критиков само заглавие моей книги, «Геополитика эмоций», будет звучать как провокация или даже оксюморон. Разве геополитика не основана на рациональности, на объективных данных о границах, экономических ресурсах, военной мощи, холодной оценке политических интересов? Тогда как эмоции по существу субъективны и совершенно иррациональны. Смешивать эмоции и геополитику — дело бесполезное, может быть, даже опасное, поскольку оно способно привести в пропасть неразумности, символом которой служат языческие шествия в Нюрнберге во время постепенного погружения Германии в варварство под властью Гитлера.

Возможно, и так. И все же книга основана на двух убеждениях. Во-первых, нельзя полностью понять мир, в котором мы живем, не попытавшись выделить и понять наполняющие его эмоции. И, во-вторых, эмоции, как холестерин, могут быть и полезными, и вредными.

В ноябре 2008 г., по крайней мере на время, надежда преобладала над страхом. Стена расовых предрассудков пала, как стена гнета рухнула в Берлине за двадцать лет до этого. Очевидно, что победу Обамы объясняют объективные, рациональные причины. В обычном политическом смысле она означала неприятие народом политики предыдущей администрации, долгой войны и глубокого экономического кризиса. И все же нельзя недооценивать эмоциональную составляющую этих выборов и чувство гордости, которое они породили во многих американцах.

Точно так же трудно понять русскую военную авантюру на Кавказе летом 2008 г. без рассмотрения ее эмоционального значения. Смысл послания московского режима Путина и президента Медведева был совершенно ясен для грузин и

других народов мира: «Имперская Россия вернулась! После 1989 г. вы смели относиться к нам снисходительно. Это осталось в прошлом. Мы готовы преодолеть наше постсоветское унижение и построить новую надежду на фундаменте вашего страха».

Тем же летом 2008 г. другой режим стремился преодолеть унижения прошлого, но не за счет военной авантюры, а благодаря международным спортивным достижениям. Принимая у себя Олимпийские игры, Китай символически и эмоционально вернул стране историческое центральное положение в мире и легитимность на международной арене. За счет великолепия церемонии открытия, архитектурной красоты главного стадиона и большого количества медалей, выигранных китайскими спортсменами, Китай сдал вступительный экзамен, допускающий в современную жизнь, и достиг новой вершины надежды, питаемой стремительным экономическим ростом.

Но в то время как Китай хватается за надежду, арабский мир тонет в страданиях и негативных эмоциях унижения. Не все арабы — и даже не большинство из них — поддерживают иррациональную и ненавистническую доктрину жестокой «священной войны» с Западом. Однако даже многие умеренные арабы отвергают понятия мирных перемен и активной гражданской позиции, считая, что все политические лидеры бесчестны и коррумпированы. Такую реакцию можно понять, однако она отражает и усиливает чувство отчаяния, ограничивающее возможности прогресса во всем арабском мире.

Страх противостоит надежде, надежда — унижению, унижение ведет к прямой иррациональности и иногда даже насилию: невозможно понять мир, в котором мы живем, не разобравшись в эмоциях, участвующих в его формировании.

Сейчас, когда я пишу эти строки уже после победы Барака Обамы на выборах, финансовый и экономический кризис углубляется и расширяется во всем мире и захватывает даже Азию — континент, до последнего времени остававшийся главной движущей силой глобального экономическо-

го роста. Что победит на всемирной арене — дух надежды, принесенный победой Обамы, или страх, вызываемый экономическим крахом? Предсказать это, разумеется, невозможно. Многое будет зависеть от способности нового американского президента превратить слова в дела, восстановить и реабилитировать политику в глазах граждан его страны. Однако многое также зависит от качества политики китайского руководства, перед которой сейчас стоят самые сложные за многие десятилетия задачи. Впервые на памяти людей будущее планеты будет зависеть не только от решений, принятых на демократическом Западе. Скоро может обнаружиться, что централизованные, недемократические режимы, вроде китайского, окажутся в действительности лучше вооруженными, чтобы противостоять экономическому кризису, чем демократические страны, вроде Соединенных Штатов.

У этой книги есть своя история, немного напоминающая русскую матрешку. Она началась в марте 2006 г. с колонки в Project Syndicate, озаглавленной «Цивилизация: столкновение эмоций». Затем мой бывший преподаватель, а теперь коллега по Гарвардскому университету, Стенли Хоффман, уговорил меня разработать эту тему и написать статью, которая была опубликована в американском журнале «Foreign Affairs» в январе 2007 года*. Статья эта, озаглавленная «Столкновение эмоций», вызвала живые дискуссии, и меня много раз приглашали защитить свою точку зрения в американских средствах массовой информации — я даже выступал на Национальном общественном радио в программе «To the Point» («По делу»). Один из моих слушателей, Чарли Конрад, занимающий высокую должность в издательстве Random House, попросил меня на ее основе сделать книгу. Вот так и появилась на свет «Геополитика эмоций».

* См. русский перевод: Доминик Моизи. Страх, унижение и надежда: эмоциональное столкновение культур. // *Общая тетрадь. Вестник Московской школы политических исследований*, 2007, № 1 (40). — *Прим. ред.*

Разумеется, в отличие от статьи, книга разработана гораздо более глубоко, и ответы на многие вопросы поданы более подробно. Да и мир претерпел радикальные изменения за последние два года. И если унижений в нем несколько не убавилось, надежда и страх, кажется, росли в геометрической прогрессии, параллельно друг другу. Тем не менее главный тезис книги не изменился. Эмоции по-прежнему имеют решающее значение для понимания природы и развития мира, и так, похоже, будет до тех пор, пока жив человек как биологический вид.

Доминик Моизи
Париж
24 ноября 2008 г.

Введение

Столкновение эмоций

«Глобализация — это здорово, но она не для нас. Мы же не азиаты и не западные люди. Нас она не интересует, мы не будем этим заниматься».

Было лето 2000 года. Меня пригласили председательствовать на международной конференции по глобализации в университете Аль-Ахавайн, в школе управления, организованной правителями Марокко и Саудовской Аравии в Атласских горах, в городе Ифран в шестидесяти километрах к западу от Феса. Языком преподавания здесь был английский, и студенты ничем не отличались от своих собратьев где-нибудь в Калифорнии или Огайо. Паранджа была запрещена, молодые мужчины и женщины прогуливались рука об руку, порой отдыхая рядышком на безупречном газоне, яркая зелень которого выделялась на фоне пустыни, окружавшей университетский городок.

Присутствие француза на международном мероприятии вызвало у студентов любопытство, и однажды вечером они пригласили меня к себе. Со мной они говорили по-французски — этот язык по-прежнему был им ближе английского. Глобализация увлекала их, но им хотелось поговорить о своих глубинных сомнениях относительно своего будущего. При этом меня потрясло отсутствие уверенности в себе, прозвучавшее в словах одного студента: «Глобализация не для нас». Эти молодые люди принадлежали к элите Марокко; это были дети среднего класса, которые, как многие надеялись, должны были изменить будущее своей страны. Какова же причина глубокого пессимизма в отношении их способностей овладеть будущим?

Мне пришло в голову несколько возможных объяснений. Наверное, у них были сомнения относительно политических перспектив правительства своей страны. (Студенты восхищались новым королем, который только что взошел на трон, однако скептическое выражение их лиц противоречило словам.) А может, недостаток уверенности был связан с географическим положением страны — Европа так близко, но они все же находились на «противоположной стороне» Средиземного моря — или же с их культурой и религией?

Каковы бы ни были причины, я понял то, что они хотели мне сказать: если они и добьются успеха в мире глобализации, удастся им это, только если они будут действовать поодиночке, как отдельные независимые личности, а не как представители их родины, и, скорее всего, это случится не в Марокко.

Несколько лет спустя на международном симпозиуме в Германии я встретил блестящего молодого марокканского профессора, который преподавал в одном североамериканском университете. Семья его происходила из очень бедного сельскохозяйственного района на юге Марокко, где его отобрали, чтобы послать учиться за рубежом на стипендию Хасана II, однако денег он так и не получил из-за господства коррупции на родине. Какой-то бюрократ перевел деньги кому-то еще — скорее всего, студенту с хорошими связями в элите страны. В конце концов, ему каким-то чудом, окольными путями, удалось «пробиться», но он явно всего добился сам. Он был чужим в своей собственной стране и не имел ни малейшего намерения возвращаться туда.

Зимой 2006 г. я впервые посетил Индию. Когда я прибыл в Мумбаи, один из символов индийского экономического чуда, то был потрясен увиденным. Дорога из аэропорта в центр города напомнила мне, что в Индии самый многочисленный бедный класс в мире: на обочинах среди непрерывного шума дорожного движения жили бедняки и бездомные. Однако на меня также произвела впечатление энергия города; Мумбаи, казалось, излучал надежду.

Сукету Мехта, индийский писатель и журналист, который теперь живет в Нью-Йорке, так объясняет этот дух. Мумбаи, по его словам, это место, «где каста не имеет значения, где женщина может пообедать одна в ресторане, и никто не будет к ней приставать, где ты можешь жениться или выйти замуж по собственному выбору. Молодых людей Мумбаи привлекает не только заработками. Он означает также свободу»*. Меня потрясло огромное чувство оптимизма. Самые бедные люди потоками стремятся в Мумбаи, убежденные в том, что, если им самим и не удастся улучшить свою жизнь, их детям или внукам такой шанс наверняка представится.

Контраст между состоятельными молодыми людьми в Марокко и бедняками в Мумбаи поразителен. В то время как первые считают, что глобализацию они уже проиграли, последние, несмотря ни на что, видят в ней для себя новые возможности.

А вот третья зарисовка, из другого города. 7 июля 2007 года я гулял по лондонским улицам. После взрывов, потрясших город в 2006-м, прошел ровно год. Я ощущал, что память о них еще жива у жителей Лондона. Опаздывая на совещание, я поехал в метро и там ощутил, что напряжение можно было буквально пощупать руками. Где и когда террористы снова нанесут удар? Немногочисленные пассажиры подозрительно разглядывали друг друга. На одной станции молодая женщина, лицо которой почти полностью закрывала вуаль, с тяжелой сумкой вошла в вагон и села напротив меня, бормоча себе под нос что-то вроде молитвы. Я вдруг почувствовал, что настал мой час. Я вдруг понял: она готовится подорвать себя. От ужаса у меня похолодела спина; я едва мог дышать. На следующей станции я выскочил из поезда. И был не одинок — ужас охватил и других пассажиров.

Молодая женщина осталась почти одна в вагоне, и в ее одиночестве отразились переполнявшие нас страхи и пред-

* Suketu Mehta. Mumbai, My Mumbai. // *International Herald Tribune*, 17 июля 2007.

рассудки. Вуаль не только защищала ее «добродетель», она также изолировала ее. И это случилось в финансовой столице мира, шумном, богатом городе, где также, по крайней мере в тот день, господствовал страх.

Унижение в Ифране, надежда в Мумбаи, страх в Лондоне. Означают ли эти три зарисовки и три различных настроения что-то помимо самих себя? Не представляют ли они тенденции культуры, характерные для специфических регионов и их населения сегодня? И если да, как способны различные эмоции влиять на политические, социальные, культурные конфликты, разделяющие наш мир? Я бился над этими вопросами последние несколько лет.

Были времена, когда в университетских курсах международных отношений тактично старались принижать значение эмоций. Глобальная политика оставалась областью, зарезервированной за особой кастой профессионалов, преимущественно аристократов из Европы, рассматривавших мировую политику как партию в шахматы. Предполагалось, что правительства и государства действуют рационально. Эмоции следовало держать в узде, поскольку они привносят иррациональность в мир, в котором от природы отсутствует порядок. Эмоции тем самым сдерживаются и направляются с помощью международных соглашений, предназначенных для упорядочивания непокорного мира. Так, Вестфальский договор 1648 г., произведенный на свет первым в истории великим международным конгрессом, закончил Тридцатилетнюю войну и установил европейские договоренности, которые обуздали страсти, в том числе религиозные.

Разумеется, эмоции обуздать трудно. Они снова прорвались — и отыгрались — во время французской революции 1789 г., потом их снова обуздали на Венском конгрессе 1815 г., поставившем точку в авантюрах Наполеона, и держали под контролем вплоть до европейских революций 1848 года.

В период между русской революцией 1917 г. и падением Берлинской стены в 1989 г. на место национальных страстей пришла идеология. XX век можно даже назвать эрой идеологий. Именно завершение этой эпохи привело историка

Френсиса Фукуяму к заключению, слишком поспешному, что история сама подошла к концу*. Это было вполне понятной ошибкой. В конце концов, в течение нескольких поколений двигателем истории служили идеологические конфликты; и теперь, когда одна из крупных сторон конфликта эпохи пала, естественно было предположить, что история двусторонней борьбы также закончится.

Этому, разумеется, не суждено было случиться. Сегодня, как мы убедимся в дальнейшем, на смену идеологии в качестве движущей силы истории пришел поиск идентичности народами, неуверенными в том, кто они, каково их место в мире, каковы их надежды на осмысленное будущее. И в результате эмоции стали важны как никогда, учитывая, что средства массовой информации усиливают и делают более значимым все, что в них попадает.

В более общем смысле, однако, эмоции — неважно, что лежит в их основе — религия, национальные чувства, идеология или просто личные чувства, — всегда имели значение. На протяжении XIX и XX веков эмоции оставались на переднем крае политики. Даже философ Иммануил Кант прервал свою работу в Кенигсберге в день сражения при Вальми в 1792 г., когда войска Французской революции победили союзные силы, защищавшие старый режим, — это был один из двух случаев, когда Кант позволил себе ослабить внутреннюю дисциплину. (Другим, по слухам, было издание трактата «Об общественном договоре» Руссо в 1762 году.) Тоталитарные движения XX века имели страстную идеологическую подоплеку. Без признания решающего влияния эмоций, которые, похоже, контролируют нас в значительно большей степени, чем мы их, невозможно понять течение истории.

В этой книге я решил сосредоточиться на трех первичных эмоциях: страхе, надежде и унижении. Почему именно на

* См.: Francis Fukuyama. *The End of History and the Last Man*. — New-York: Free Press, 1992 (Френсис Фукуяма. *Конец истории и последний человек*. Пер. с англ. М.Б. Левина. — М.: «Издательство АСТ», 2004).

этих трех? Почему не на гневе, отчаянии, ненависти, возмущении, ярости, любви, чести, солидарности?.. Я выбрал именно эти три эмоции потому, что они тесно связаны с чувством уверенности в себе, что часто становится фактором, определяющим способность нации или личности встречать вызовы, встающие перед ними.

Страх — это отсутствие уверенности в себе. Если в вашей жизни господствует страх, вы со страхом воспринимаете настоящее и ожидаете, что будущее станет еще более опасным. Надежда, напротив, выражает уверенность; она основана на убеждении, что сегодня жизнь лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Унижение, в свою очередь, — это ущербное самоощущение тех, кто потерял надежду на будущее; если у вас нет надежды — в этом виноваты другие, которые плохо обращались с вами в прошлом. Когда контраст между идеализированным славным прошлым и полным бессилием и отчаянием настоящим слишком велик, чувство унижения преобладает.

Если попытаться свести эти три чувства к кратким словесным формулам, надежда может быть выражена так: «Я хочу это сделать, я могу и я сделаю это»; унижение означало бы: «Я никогда не смогу этого сделать», что может довести до крайности: «Я могу уничтожить тебя, поскольку объединиться с тобой я не могу»; страх может выразиться в формуле: «Господи, мир стал таким опасным; как я могу защититься от него?». Эти три чувства отражают степень веры в себя. Уверенность в себе имеет жизненно важное значение как для нации и цивилизаций, так и для отдельной личности, потому что она позволяет проецировать себя в будущее, реализовать свои способности и даже преодолевать их пределы. Уверенность в себе (в отличие от самолюбия) является одним из важнейших компонентов здоровья нашего мира.

Как, позвольте спросить, столь абстрактное качество, как «уверенность», измерить на уровне нации? Для этого существует несколько способов. Уверенность можно оценивать как в объективном, так и в субъективном планах. Некоторые из ее проявлений покажутся, на первый взгляд, несколько тривиальными. Так, к примеру, в современном мире спор-

тивные мероприятия, транслируемые СМИ, стали аналогом светской религии, и триумф на игровом поле вполне способен, пусть на короткое время, поднять дух населения страны и ощутимо повлиять на уверенность нации в своих силах. Вспомните хотя бы оценку победы хоккейной команды США над сборной Советского Союза в матче, названном «Чудо на льду», во время зимней Олимпиады-1980 или сравнительно недавние европейские примеры, когда Франция выиграла Кубок мира по футболу 1998 г., а Испания — чемпионат Европы 2008 года. Когда команда вашей страны побеждает на всемирной арене, вы чувствуете себя «на вершине мира», вы едины с национальной сборной и разделяете ее триумф.

Уверенность нации находит свое выражение в архитектуре, искусстве, музыке. Взять, к примеру, голландскую живопись XVII века, ее Золотого века, отражающую гордость среднего купеческого класса Нидерландов своими экономическими, социальными и политическими достижениями. Подумайте о музыке Генри Пёрселла, восхваляющей великолепие послереволюционной Англии.

Более объективно уверенность нации в себе можно исследовать по так называемым показателям доверия, которые научным образом измеряют уровень веры населения страны в свое будущее, находящий конкретное выражение в структуре расходов населения. Эта вера выражается также в уровне инвестиций. Так, например, современное возрождение уверенности в своей стране для бывшей Советской России отражается в том, что русские стали снова вкладывать деньги в экономику страны.

Уровень рождаемости — показатель более сложный. Прогресс в экономике и в социальной сфере часто приводит к росту индивидуализма, а это, в свою очередь, ведет к снижению рождаемости на фоне роста уровня жизни. Однако экономическое и социальное отчаяние также могут привести к снижению рождаемости, отражая не высокий уровень жизни, а отсутствие надежды.

В геополитике доверие может выражаться в соглашениях между государствами. С этой точки зрения меры по увеличе-

нию доверия к своим странам, предпринятые Китаем и Индией в начале 1990-х, отражают рост надежды на светлое будущее в обоих гигантах Азии.

И, разумеется, чувства унижения, надежды и страха переплетаются гораздо более сложным образом, чем это показано в моих словесных формулах. Страх всегда недалек от надежды, и не нужно далеко ходить, чтобы обнаружить унижение за страхом или даже надеждой.

В этой книге нашел свое отражение путь «страстно умеренного» человека, посвятившего свою жизнь изучению международных отношений. Я пришел к убеждению, что упрощенные взгляды на мир, будь то чрезмерно позитивный, как восхваление «триумфа демократии» Фукуямы, или слишком негативный, вроде «столкновения цивилизаций» Самюэля Хантингтона*, одинаково опасны.

По этой причине в книге нет всеобъемлющей теории существующего мира. В ней скорее пойдет речь о смеси чувств и их оттенках, на мой взгляд, более точно характеризующих наш мир.

Разумеется, не один я придаю столь большое значение эмоциям. Начиная с Платона и Гоббса, Канта и Гегеля, философы постоянно подчеркивали роль и влияние классического понятия страсти, противопоставляемого марксистскому понятию классового интереса, согласно которому взаимодействие людей является производной от их общественного и экономического статуса. И все же это не книга по истории чувств. Это очерк о глобализации и о необходимости братья за изучение эмоций, чтобы понять наш переменчивый мир, это попытка, если хотите, чувствами исследовать глобализацию.

В своей работе я во многом полагался на моих интеллектуальных учителей, Стенли Хоффмана из Гарварда и Пьера

* См.: Samuel P. Huntington. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. — New-York: Simon & Schuster, 1996 (Самюэль Хантингтон. *Столкновение цивилизаций и переосмысление мирового порядка*. Пер. с англ.— М.: «Издательство АСТ», 2003).

Асснера из французского Центра международных исследований, которые подчеркивают в своих работах влияние эмоций на геополитику*. Оба они были моими преподавателями до того, как я стал их коллегой и другом, и, так же как и я, оба они являются учениками Раймона Арона. Своими разнообразными статьями Пьер Асснер открыл мне глаза на сложность мира и опасность его упрощения, а Стенли Хоффман, самый открытый и щедрый из встречавшихся мне учителей, поддержал во мне глубокое убеждение в том, что сохранять нравственность вполне реалистично.

Тем не менее мой подход к исследованию в этой работе отличается от их подхода. Он одновременно и более импрессионистичен, и более глобален. Я намеренно привожу здесь примеры из жизни конкретных людей, а также ссылки на художественную и культурную жизнь. Это очень личное предприятие: я постарался выразить в нем мои собственные мысли и чувства, даже в процессе исследования воздействия человеческих эмоций в целом на крупные события, развивающиеся в окружающем мире. Я надеюсь, что предлагаемые мной наблюдения найдут отклик у читателя, который, в свою очередь, сумеет развить на их основе более глубокое понимание тенденций, формирующих наш мир, и правильно реагировать на них.

* См.: Pierre Hassner. *Violence and Peace: From the Atomic Bomb to Ethnic Cleansing*. — New-York: Central European University Press, 1997; Stanley Hoffmann. *Duties Beyond Borders: On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics*. — New-York.: Syracuse University Press, 1981); Stanley Hoffman, Robert C. Johansen, and James P Sterba. *The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention*. — Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1996.

Глава первая Глобализация, идентичность и эмоции

В эпоху глобализации эмоции стали неотъемлемой частью понимания всей сложности мира, в котором мы живем. Усиливаемые СМИ, они одновременно и отражают глобализацию, и реагируют на нее, в свою очередь влияя на геополитику. Пусть глобализация и сделала мир «плоским», по образному выражению американского журналиста Томаса Фридмана*, однако она же сделала этот мир невероятно страстным.

Очень скоро мы рассмотрим причины истинности этого утверждения. Однако для начала необходимо прояснить природу самой глобализации, поскольку многие люди понимают ее неправильно. В книге «Лексус и оливковое дерево» Фридман определяет глобализацию как международный порядок, пришедший на смену холодной войне**. В отличие от системы холодной войны, глобализация нестатична, она представляет собой динамичный, развивающийся процесс, охватывающий неумолимую интеграцию рынков, национальных государств и технологий на невиданном ранее уровне, что дает возможность отдельным людям, корпорациям и странам распространять свое влияние по миру дальше, быстрее, глубже и дешевле, чем когда бы то ни было. И этот же процесс вызывает мощную ответную реакцию со стороны

* См.: Thomas L. Friedman. *The World Is Flat. A Brief History of the Twenty-first Century.* — New-York: Farrar, Straus and Giroux, 2005 (Фридман Т. *Плоский мир: Краткая история XXI века.* Пер. с англ. М. Колопотина. — М.: «Издательство АСТ», 2006)

** См.: Thomas Friedman. *The Lexus and the Olive Tree.* — New-York: Farrar, Straus and Giroux, 1999. — P. 7–8.

тех, кто был оставлен новой системой позади, или тех, кого она грубо использует.

Для многих, в особенности для критиков, глобализация идентична американизации. Распространение американского влияния — политического, экономического и культурного — уходит своими корнями, по крайней мере, в период Второй мировой войны, однако этот процесс обрел новую силу с распадом советской империи в 1991 году, в результате которого Соединенные Штаты остались единственной сверхдержавой на планете. Так растущая унификация экономик и культур означает в действительности унификацию на американских условиях. В результате движения антиглобализма растущие с углублением финансового и экономического кризиса страны сочетают антиамериканские чувства с критикой капитализма в борьбе за равенство, честную торговлю и устойчивое развитие.

Если присмотреться, можно заметить, что отождествление глобализации с американизацией чересчур упрощает дело. В действительности Азия экономически захватывает Запад, хотя культурное влияние Соединенных Штатов во всем мире беспрецедентно широко и всепроникающе. Современная фаза глобализации отражает достижение азиатским континентом совершеннолетия, в результате чего экономическая власть постепенно переходит от Запада, на котором господствует Америка, к Китаю и Индии.

Так глобализацию можно рассматривать как комбинацию двух разнородных феноменов, которые можно рассматривать как противостоящие друг другу или взаимодополняющие. С одной стороны, мы становимся свидетелями последствий культурной американизации мира. Французский экономист Даниэль Коэн считает, что постепенное снижение рождаемости в южном полушарии напрямую вызвано популярностью американских телесериалов, в которых семья с двумя детьми стала всеобщим идеалом*. С другой

* См.: Daniel Cohen. *Three Lessons on Post-Industrial Society.* — Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008.

стороны, благодаря экономическому подъему Азии монополия западной модели развития подходит к концу. Господство Запада в мире, начавшееся с введения британского правления в Индии в середине XVIII века, и упадок Китая в начале XIX века, продолжавшийся до начала XX, похоже, подходят к концу. Историков империй это не удивляет: они знают, что подъем и падение империй носит циклический характер.

Так возникает ситуация асимметричной многополярности: ключевые игроки на мировой арене не только не равны в плане своей мощи и влияния, они также имеют радикально отличающиеся взгляды на окружающий мир. В то время как Америка и Европа подходят к построению международных отношений на основе нормативных документов и веры в универсальные ценности, Китай, Индия, а теперь и посткоммунистическая Россия в гораздо меньшей степени заинтересованы в том, каким должен стать мир, чем в сохранении своих собственных позиций в нем. (Так, например, российские запасы нефти и газа должны прежде всего восстановить мощь и законное присутствие России в международной системе отношений, а не просто служить улучшению жизни на планете.)

Такой же прагматичный подход очевиден во взглядах Китая на Сингапур. Этот город-государство, в котором слились воедино конфуцианские ценности и просвещенная деспотия в духе XVIII века, сыграл важную роль в эволюции современного Китая. Когда в феврале 1978 г. новый лидер Китая Дэн Сяопин посетил Сингапур с дипломатическим визитом, он не узнал «комариное болото», запомнившееся ему в 1920-х годах. Всего за десятилетие после достижения независимости в 1965 г. Сингапур стал процветающим городом, обратившимся к капитализму под твердым, но просвещенным руководством Ли Куаня Ю. Стоит только освободиться от узколобого социалистического видения экономики, доказывал Дэн Сяопину Ли Куань Ю, и коммунистические наследники мандаринов Срединной империи смогут добиться гораздо больших успехов в экономике, чем потомки бедных китайских крестьян с юга. И в самом

деле, взгляды эти оказались гораздо шире тех, которые разделялись в то время Дэн Сяопином и китайским руководством.

В Китае прагматичный подход принес свои плоды. Стране удалось достигнуть значительного экономического прогресса без всякой демократии и верховенства права.

В остальном мире тем временем понятие демократии претерпело опасную девальвацию, оно потеряло свое значение из-за того, что администрация Буша оправдывала демократическими ценностями геополитические амбиции Соединенных Штатов. Контраст между демократической идеологией и реальностью демократии в слишком многих западных, и не только западных, странах может отчасти объяснить переход власти в мире от Америки к Азии, о котором я сказал выше.

Когда страны демократии теряют веру в демократические идеи развития и когда автократические режимы получают поддержку своей антидемократической практике за счет сочетания экономического роста и политической стабильности, больше всего страдает в результате такой эволюции Запад. Менее двадцати лет назад, сразу же после падения Берлинской стены, Запад наслаждался ощущением превосходства благодаря своим демократическим ценностям, которые позволяли не обращать внимания на то, что страны вроде вновь объединившейся Германии не слишком успешно развивались экономически. Сегодня же демократическая суть Запада уже не видится компенсацией недостатков в функционировании экономики. Возможно, эмоции оказались на переднем крае международной жизни отчасти из-за того, что Запад не может более опереться на собственные ценности или экономическое превосходство и вследствие этого реагирует на глобальные изменения с некоторым раздражением, испытывая желание защитить свой драгоценный открытый мир от враждебных сил.

Однако главной причиной того, что современный мир с его растущей глобализацией стал идеальной почвой для бурного роста, если не сказать взрыва, эмоций, является то, что глобализация приводит к нестабильности и поднимает про-

блему идентичности. Во время холодной войны у людей не было повода спросить себя: «Кто мы?». Ответ на этот вопрос был отчетливо виден на каждой карте, изображавшей две противостоящие системы, которые делили между собой мир. Однако сейчас, в постоянно меняющемся мире без границ, ответ на этот вопрос становится все более важным. Осознание идентичности крепко связано с уверенностью в себе, а уверенность в себе или отсутствие оной, в свою очередь, выражается в эмоциях, и в частности в страхе, надежде и унижении.

В экономическом смысле глобализацию можно определить просто как интеграцию экономической деятельности за пределами границ государств через функционирование рынков. Движущими силами глобализации, мастерски проанализированными британским экспертом Мартином Вольфом, являются технологические и политические перемены, в результате которых снизились расходы на транспорт и связь, а также стало выгоднее использовать рыночные механизмы*. Однако теперь свобода перемещения товаров в экономическом смысле подразумевает также свободное перемещение чувств в политическом смысле, а чувства включают в себя позитивные эмоции (целеустремленность, любопытство, стремление выразить себя) и дурные, в том числе гнев, который приводит к росту ненависти к определенным нациям, религиям и этническим группам. Так терроризм стал темной трагической стороной глобализации.

Я вовсе не имею в виду, что современный терроризм является прямым следствием глобализации. Террористы всегда пересекали границы стран ради достижения своих целей (особенно в Европе XIX века), а терроризм Аль-Каиды порожден специфической политической ситуацией на Ближнем Востоке, которая и предшествует глобализации, и ничего общего с ней не имеет. Новостью здесь стали революция в средствах связи и транспорта, изменившая стратегию и

* См.: M. Wolf. Why Globalization Works. — New Haven, Conn.: Yale University Press, 2004.

тактику террористов, а также революция в сфере средств массовой коммуникации (включая Интернет), которая обеспечила террористов новыми высокими трибунами. Новые технологии создали мир, в котором, выражаясь словами Черчилля, «никогда еще так мало людей не были способны повредить столь многим».

В мире, в котором у Запада нет больше монополии в сфере средств массовой коммуникации, события и конфликты получают освещение под самыми разными углами. Вторжение Израиля в Ливан летом 2006 г., например, представлялось как две разные войны, в зависимости от того, смотрели ли вы телевизионный канал Аль-Джазира или новости CBS. В современном мире у каждого есть доступ не только к потокам информации, но и к широкому спектру эмоций. Теперь, когда американские телесериалы смотрят во всех уголках мира, они для всех предоставили общую систему координат: бедные узнали, как живут богатые, и наоборот. В результате богатым в этом мире становится все труднее игнорировать бедных, чей гнев они видят по телевизору в вечерних новостях. Многие бедные люди, рискуя жизнью, пересекают моря и пограничные ограждения, чтобы попасть в мир богатых; другие же, остающиеся дома, вырабатывают в себе глубокую ненависть к обеспеченным людям, намеренно игнорирующим их судьбу.

После терактов 11 сентября 2001 года брат одного из террористов Аль-Каиды, арестованный американскими властями до того, как он смог присоединиться к остальным девятнадцати участникам заговора, дал интервью французскому телевидению. Он описал своего брата как молодого человека, который «хотел достигнуть вершин успеха на Уолл-стрит или стереть в прах тот мир, в котором ему не нашлось места». Такое заявление было бы невозможным, если бы Уолл-стрит и исламский Ближний Восток существовали в разных мирах, как это было когда-то.

В прозрачном мире бедные уже имеют представление о мире богатых, а богатые больше не могут сослаться на незнание мира бедных. Они могут игнорировать трагедию развивающихся стран, однако теперь это их сознательный выбор,

делая который, они все больше ставят себя под удар. «Отсутствие действия — тоже действие», — писал немецкий теолог Дитрих Бонхёффер*. Сегодня невмешательство с целью снижения страданий в этом мире тоже является разновидностью вмешательства.

При этом глобализация создала новую систему всеобщих ориентиров, которая делает Запад более уязвимым. Это справедливо даже в сравнении с эпохой холодной войны, когда существовала угроза ядерной катастрофы, которая была в какой-то степени и менее расплывчатой, и более понятной, ее было легче эмоционально осмыслить, и даже найти в ней «опору». Когда Запад и Восток противостояли друг другу по разные стороны метафорической стены (которая, разумеется, была реальной в Берлине), враг был один, его легко было идентифицировать, анализировать, его можно было остановить, с ним можно было вести переговоры. Теперь все изменилось, враг приходит не только из другой культурной и религиозной среды, но и словно из другой эпохи, у него досовременные исторические и политические ориентиры.

Приватизация насилия террористами; тот факт, что все большее количество конфликтов являются внутренними, а не внешними (это, скорее, гражданские войны, чем войны между государствами); невидимая природа террористической угрозы; рост количественно-политических угроз вроде глобальной пандемии и изменения климата — все эти факторы усиливают чувство нестабильности, уязвимости и страха. Сегодня, мы, люди Запада, испытываем страх, который можно свести к одному вопросу: какой мир достанется нашим детям? Оправдаются ли прогнозы развития действующих сегодня демографических тенденций, не окажемся ли мы в мире, в котором к 2050 г. будет жить 9 миллиардов человек, а энергии, воды и других ресурсов будет катастрофически мало, из-за чего возникнет огромная планетарная напряженность и начнутся войны за выживание?

* См.: Бонхёффер Д. Соппротивление и покорность. Пер. с нем. А. Григорьева. — М.: «Прогресс», 1994. (Прим. ред.)

Если XX век можно одновременно назвать «веком Америки» и «веком идеологии», на мой взгляд, существуют серьезные признаки того, что XXI век станет «веком Азии» и «веком идентичности». Параллельное смещение от идеологии к идентичности и с Запада на Восток ведет к тому, что эмоции приобретают все большее значение в зависимости от того, как мы воспринимаем этот мир.

В идеологической атмосфере XX века картина мира определялась противоборствующими политическими моделями: социализмом, фашизмом и капитализмом. В сегодняшнем мире на смену идеологии пришла борьба за идентичность. В эпоху глобализации, когда все и всё взаимосвязаны, чрезвычайно важно установить собственную индивидуальность: «Я уникален, я другой, и, если необходимо, я готов сражаться, пока вы не признаете мое существование». Словак не является чехом, а гражданин Черногории — не серб. В мире, в котором господствует идентичность, нас уже определяют не столько наши политические убеждения и идеалы, сколько наше восприятие собственной сути, уверенность, которую дают нам наши достижения, и уважение, которое другие испытывают или не испытывают к нам. В восприятии нашей сути огромную роль играют эмоции, они связаны с тем, как мы смотрим на других, — так же как и с тем, как другие смотрят на нас. Эмоции — это одновременно и изображение в зеркале, и глаз человека, который видит эту картинку. Эмоции вызывают обратную реакцию, что демонстрируется, к примеру, поведением современных образованных мусульманок, предпочитающих на Западе носить головной платок, тем самым вызывая поток встречных эмоций в отношении их идентичности и мотивов. Вы боитесь кого-то, кто-то вас унижает, либо в вас пробуждает надежду чей-то успех. Такое переплетение взаимозависимых эмоций имеет решающее значение для понимания мира, в котором господствует идентичность.

Страх, унижение и надежду можно, таким образом, рассматривать как вполне естественные и жизненно важные компоненты существования человеческих существ, как и

три составные части крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Нам необходимы все три элемента, чтобы быть здоровыми. Однако здоровье зависит от равновесия между ними. Повышение или понижение количества любой из этих трех составных частей опасно для общего равновесия организма и его здоровья в долгосрочной перспективе. Равновесие эмоций имеет столь же важное значение для «здоровья мира», как и «сбалансированная» кровь для здоровья людей.

Голландского философа XVII века Спинозу больше всего интересовали две «страсти»: надежда и страх, поскольку оба эти чувства связаны с переживанием неопределенности относительно будущего. И оба они необходимы в жизни. Элемент страха необходим для выживания, а надежда запускает и питает мотор жизни. Даже унижение в небольших дозах может стимулировать, заставлять добиваться лучшего, особенно если оно исходит от друга, который проявил себя лучше в спорте или в учебе, или от дружественной страны, которая добивается больших успехов в спорте или бизнесе. Однако намеренное унижение при отсутствии надежды разрушает, а чрезмерные страх, унижение и недостаток надежды представляют собой самое опасное из всех возможных в обществе сочетаний чувств, которое ведет к усилению нестабильности и росту напряженности.

Структура эмоций

Думаю, все согласятся, что эмоции играют важную роль в поведении человека. И даже с тем, что эмоциональные конфликты, вызванные проблемами идентичности в современном мире растущей глобализации, скорее всего, окажут значительное влияние на геополитику. Однако какова специфическая, конкретная связь между эмоциями и геополитическими конфликтами? Можно ли выйти за пределы общих рассуждений об эмоциях и разглядеть реальные модели поведения, которые помогут нам объяснить, что происходит на мировой арене?

Я считаю, что это возможно: изучение эмоций является одним из способов распознавания подобных моделей. Но это изучение требует сопоставления таких различных элементов, как опросы общественного мнения (информации о том, как люди относятся к настоящему и будущему), заявления политических лидеров, произведения культуры в виде фильмов, пьес, книг. В этой связи особенно важна архитектура, поскольку она выражает то, как общество проецирует себя в пространстве в данное время. С помощью таких показателей эмоции, самый субъективный из предметов изучения, можно исследовать объективным, и можно даже сказать, научным способом.

Характер ресурсов и интересов, естественно, гораздо понятнее, чем свойства эмоций. Одно время геополитика, в самом строгом понимании этого термина, основывалась на географическом детерминизме, вере в то, что поведение наций и империй продиктовано их географическим положением. Считалось, что морская держава Великобритания наверняка будет себя вести не так, как континентальная Россия. Затем ряд влиятельных мыслителей в области геополитики первой половины XX века до предела упростили этот подход. И в своем наихудшем выражении, когда идеи повлияли на формирование идеологии жизненного пространства Гитлера, геополитика внесла свой вклад в разрушение Европы во время Второй мировой войны, побуждая рассматривать контроль над территорией как государственный фактор, настолько важный для судьбы нации, что он вполне оправдывает развязывание глобальной войны.

Сегодня большинство исследователей признают, что, хотя географическое положение и имеет значение, оно не является единственным определяющим фактором, как утверждалось ранее. Жан Боден, французский философ, еще в XVI веке в своем сочинении «Шесть книг о республике» (*Les six livres de la République*, 1576 г.) выдвигал теорию влияния климата, которая до сих пор остается полезной. Политические режимы продолжают отчасти испытывать воздействие климатических и географических факторов. Так называемая протестантская этика имеет,

например, гораздо большее распространение в холодных странах, чем в жарком и влажном климате, однако Сингапур явным образом опровергает эту закономерность, поскольку там духота и этика трудолюбия оказались совместимыми. Как и другие виды детерминизма, географический детерминизм не способен отразить сложную реальность человеческого поведения.

Иначе говоря, мы должны избегать и чрезмерного упрощения и жесткого детерминизма. Если исключить эмоции из анализа состояния мира, возникает опасность проглядеть какой-либо фундаментальный аспект политической жизни.

В частности, без эмоциональной составляющей мы не сможем понять конфликт, в том числе и между Израилем и Палестиной. Разумеется, этот конфликт разгорелся из-за земли, безопасности и суверенитета, но он был заряжен эмоциями. Один из видных представителей палестинской политической элиты однажды изложил мне образное описание того, что испытывает его народ: «Вот идешь ты по улице города, где родился, и вдруг прямо над тобой открывается окно и из него выбрасывают человека, который падает тебе на голову». Несчастный прохожий, конечно же, палестинец, выбрасывание человека из окна организовал, конечно, европеец. А другая жертва, превращающаяся в угнетателя палестинцев, — это израильский еврей.

Нет сомнения, что сегодня дети тех, кто выжил в нацистских концлагерях и гетто, вряд ли смогут принять такую интерпретацию палестино-израильского конфликта. Однако им придется ее учесть, если они хотят понять позиции, мотивы и заботы противника, с которым им приходится иметь дело.

Как примирить два народа с разными мирами эмоций, когда для одного День Накба (день выселения палестинцев с их территорий) — это чудо возрождения народа, а для другого — катастрофа и победа угнетателей? Когда для израильян их государство — это законный и необходимый статус нации, а для арабов — анахронизм, демонстрация имперской политики Запада.

Я рассматриваю палестино-израильский конфликт не только, если так можно выразиться, как схему международных отношений, но и как архетипическое столкновение двух основных эмоций, описанных мной в этой книге, — унижения и страха. Трагедия породила нацию, которую чудовищность собственных ран, физических и психологических, сделала слепой к боли других. Ничто не может быть заряжено более эмоционально, чем это трагическое столкновение народов, и когда до сих пор господствует чувство вины западного мира, раздираемого собственными воспоминаниями об антисемитизме и колониализме.

Палестино-израильский конфликт может стать образцом для развития отношений между Западом и арабским исламским миром в целом, если он окажется разрешенным. Если же Запад не сумеет выйти из порочного круга страха и унижения в отношении мира с арабо-исламскими фундаменталистами, он будет обречен на угасание и уход из центра исторического процесса на его периферию.

А как же надежда? Надежду я встретил в Азии. Возвращаясь из множества разных путешествий в Азию, в особенности в Мумбаи и Сингапур, я все больше убеждался в том, что разрыв в настроениях между Азией и остальным миром расширяется и углубляется. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2008 г. контраст между пессимизмом и унынием представителей Запада и беззаботной гибкостью и уверенностью азиатов был поразительным. (Разумеется, тот факт, что ведущая держава Запада, США, сейчас в финансовом отношении зависит от огромных заимствований на Востоке, наверняка способствовал укреплению уверенности в себе лидеров азиатской экономики.) Лозунг вчерашнего дня «Когда Америка чихает, у остального мира тяжелая простуда», в Давосе, похоже, заменили другим: «Когда у Америки воспаление легких, у Китая и Индии легкая простуда». И хотя мировой финансовый кризис, который мы сейчас переживаем, углубляясь, наверняка захватит и Азию, возможность азиатских стран развиваться с новой энергией намного больше — они находятся под влиянием «избытка надежды» у их народов.

Эмоции против цивилизаций

Некоторые обозреватели утверждают, что сегодня конфликты между нациями легче всего объяснить не эмоциями, а более широкими и глубокими культурными факторами. Это убеждение особенно ярко выражено в знаменитой статье Самюэля Хантингтона 1993 г., где он утверждал, что в мировой политике скоро будут господствовать столкновения цивилизаций, а линии геополитических разломов будут определяться, помимо национальных интересов и политической идеологии, культурой. Он представил циклическую картину истории, начинающейся с появления религии и кончающейся цивилизациями, которые переходят от столкновения между государствами к противостоянию между нациями, а затем от наций — к идеологиям.

Я всегда воспринимал теорию Хантингтона с серьезными оговорками. По-моему, пытаюсь найти нового врага и борьбу с ним сделать стержнем иностранной политики Соединенных Штатов после распада советской империи, Хантингтон весьма рискованно спутал понятие культуры как таковой, включающей социальные и религиозные убеждения и нормы поведения, с политической культурой. Разве многие люди в азиатском мире не разделяют универсальной применимости западных ценностей и практик, в том числе демократии? Если это так, как быть с мыслью о том, что линии культурных разломов являются одновременно линиями политических и идеологических разломов?

Кроме того, пока не видно признаков союза Азии и исламского мира, направленного против Запада, который Хантингтон предсказывал. Наоборот, на международной арене Индия и Китай ведут себя скорее как удовлетворенные своим положением сторонники статус-кво, чем как безответственные и опасные революционеры. Китай и Индия в основном воспринимают мир таким, какой он есть сейчас. Китайцев, кажется, вполне устраивает существующее положение в мире, пока они сохраняют способность полностью контролировать и подавлять любые попытки бросить вызов их имперским амбициям (что они и делают в Тибете) и пока

они уверены в том, что события в мире развиваются в нужном для них направлении. Мысль, широко распространенная в середине 1990-х гг. о том, что прошлое Европы — это будущее Азии и отсутствие безопасности переместилось из Западной Европы в Восточную Азию, не находит подтверждения в действительности. Если с Запада на Восток что-то и перешло, то это прежде всего экономический рост, а не войны.

В последнее десятилетие подлинными революционными державами в мире были два прежних противника в холодной войне: путинская и медведевская Россия и Америка Джорджа Буша. И революционная природа этих двух режимов основывалась не на культурных, а на эмоциональных факторах: в России за ней стояло возрождение уверенности в себе и освобождение от унижения, испытанного после конца холодной войны, а в Америке — чрезмерная уверенность в себе и убежденность в универсальной значимости своих демократических идеалов и уникальности военной мощи, чрезмерная уверенность, которая на самом деле отражает глубокий кризис идентичности. У Соединенных Штатов, пытающихся изменить сложившийся статус-кво на Ближнем Востоке во имя демократии, и у России, стремящейся изменить положение на Кавказе, чтобы восстановить свой имперский статус, гораздо больше общего, чем хотелось бы признать этим двум странам.

Я сам и Другой

Концентрируясь на эмоциях, хочу подчеркнуть новую реальность, которую вкратце можно описать так: в эпоху глобализации отношения с Другим обрели, как никогда, фундаментальный характер.

В классической Европе, например в XVII и XVIII веках, абсолютно Других было так мало, что они просто возбуждали любопытство, о них говорили, их коллекционировали и выставляли напоказ, как экзотических животных. После революции в сфере средств передвижения абсолютно Другие

стали более многочисленными, и они оказались вовлечены в качестве важного элемента в экономические и военные авантюры. Колониальные империи начали играть важную роль в соперничестве между европейскими странами. Мы изо всех сил старались «цивилизовать» Других, и пришло время использовать их для наших целей. (Посчитайте количество могил солдат из мусульманской или черной Африки на полях Первой мировой войны в восточной и северной Франции.)

Хотя в XIX и вплоть до первой половины XX века Другой уже не был редкостью, он все еще не стал абсолютно Другим, который мог заставить нас сомневаться в собственной идентичности и подвергать сомнению наши социальные и политические модели. Во времена холодной войны абсолютно Другой для западного мира приходил из коммунистической системы, в интеллектуальном и культурном смысле это была «противоположная сторона Запада». Сегодня, в эпоху глобализации, абсолютно Другой приходит не только из иной, незападной культуры, но и в каком-то смысле из другого времени, в котором живо почти племенное сознание, напоминающее наши Средние века, и технические возможности современности. И теперь этот Другой не только воскрешает в памяти наши прежние религиозную нетерпимость и воинственность, он может также стать воплощением нашего будущего. С точки зрения Запада, вчерашние незападные люди могут добиться успеха, только если будут следовать западным моделям; они, мол, потерпят крах, если будут держаться за свои традиции. Сегодня, когда люди Запада взирают на Восток, они испытывают крайне неприятные ощущения оттого, что, возможно, видят перед собой собственное будущее, которое неспособны будут контролировать.

Появление Азии как соперника и возникновение фундаментализма как угрозы поставило перед Западом сложную проблему определения собственной идентичности. В эпоху глобализации отношения с Другим стали настолько важными, что мы вынуждены пересмотреть нашу собственную суть. Кто мы? Что делает нас такими особенными и отли-

чающимися? Эта задача оказывается гораздо более сложной для некоторых представителей Запада, привыкших интерпретировать мир в категориях «мы» и «они», чем для китайца или индийца, которые привыкли жить в параллельных мирах — своем собственном и том, в котором господствует Запад.

Большинство моих друзей из Азии учились в лучших западных университетах. Они не понаслышке знакомы с нами и нашей культурой. Образно выражаясь, они знают, что «нас заводит». Азиатская же сторона личности, наоборот, до сих пор остается тайной для меня и моих друзей с Запада. На Западе специалисты по Азии по-прежнему остаются слишком немногочисленными, и их компетенция часто до сих пор ограничивается сферой их специализации, будь то искусство, история или языки. Одна известная, очень уважаемая в США специалистка по Японии из американского университета много лет назад сказала мне о японской культуре, что чем больше она узнавала ее, тем меньше по-настоящему понимала.

Так, гибридная природа азиатской идентичности, похоже, оказывается более приспособленной к миру, раздираемому конфликтами, и более полезна в нем, чем привычка к относительной однородности в западном мире. Поскольку мы, представители Запада, до сих пор считаем себя центром Вселенной, мы гораздо острее, чем азиаты, ощущаем стоящие перед нами проблемы, и это обостряет ситуацию для нас и дестабилизирует самую основу нашей идентичности. Азиаты умудряются оставаться собой, даже когда становятся нами.

Множество оттенков: трудность картирования эмоций

Придать эмоциям решающее значение для понимания глобальных конфликтов мешает одна проблема, связанная с представлением о том, что эмоции по своей сути слишком субъективны, «нежестки» и не поддаются четкому определению.

нию, чтобы по-настоящему обладать смыслом. Такое отношение крепко связано с господствующими в настоящее время позитивистскими научными настроениями академических кругов, в особенности в сфере международных отношений.

Привлекательность такого подхода понятна. Чем сложнее становится мир, тем сильнее искушение анализировать систему международных отношений через призму отстраненного научного или псевдонаучного подхода. Отказ от «политической ориентации» можно объяснить с этической точки зрения; вы не хотите, чтобы даже отдаленная связь с повседневной реальностью, например с войной в Ираке, «подорвала» доверие к вашим трудам. Однако такой подход рискует оказаться совершенно оторванным от всякой связи с реальным миром. Теория количественного анализа, столь популярная сегодня на факультетах международных отношений в самых престижных университетах мира, внушает доверие своей абстрактной формой, однако каков смысл в отказе от рассмотрения конкретных серьезных проблем? (Судя по одному простому показателю, смысла никакого: во многих университетах студенты реагируют на такой абстрактный подход ногами. Они просто уходят с этих факультетов.)

В действительности субъективная, «нежесткая» реальность имеет существенное значение для понимания геополитики даже на самом элементарном уровне.

Посмотрите на физические географические карты. У них надежные объективные характеристики. Равнины на них зеленые, горы коричневые, океаны голубые. Природные изменения часто выглядят гораздо более наглядно, чем изменения политической реальности. После цунами или землетрясения границы цветов на физической карте могут измениться самым радикальным образом, и там, где раньше были зеленый или коричневый, появится голубой. Потепление климата на планете также наверняка ускорит темп природных изменений; в Гренландии уже появились новые острова, которые до недавнего времени считались частью этого субконтинента.

Политические и экономические карты, наоборот, представляют собой не объективное изображение природной действительности, а субъективные построения, которые к тому же очень часто становятся политическими инструментами в руках правительств. На большинстве арабских карт отсутствует Израиль. Его просто стерли, как лица расстрелянных «врагов народа» стирались с фотографий советских лидеров во времена Сталина. На израильских картах вместо западного берега реки Иордан показаны Иудея и Самария. На турецких картах Кипр разделен на два государства, на греческих он един. Залив, разделяющий аравийский полуостров и Иран с Пакистаном, на арабских картах называется арабским, на иранских — персидским*. Таких примеров можно привести множество.

Разумеется, сведения о демографии, доходах населения, энергетических ресурсах носят объективный, даже научный характер, но не всегда. Даже эти данные могут быть искажены для достижения политических целей, как это происходило с демографией соответствующих религиозных меньшинств в Ливане или Боснии в период югославских войн 1990-х, или скрыты, как показатели продолжительности жизни в Советском Союзе 1970-х годов.

Построение структур политических режимов еще более хитрое дело. В старорежимной Европе карты постоянно менялись в зависимости от результатов войн и союзов, которые постоянно формировались и разрывались, и от расширения и сокращения территории империй. Нации возникали и растворялись, как, например, в Польше — стране, исчезнувшей как независимое государство более чем на сто лет, с 1795 по 1918 год, после трех разделов между разными соседями.

Во времена холодной войны международные карты были довольно просты. Они почти не менялись с 1945 по 1989 год. Два политических блока противостояли друг другу, а все остальное были так называемые неприсоединившиеся стра-

* Таково его общепринятое название. (Прим. ред.)

ны. Советский блок обычно показывали красным, а Атлантический союз — синим.

После окончания холодной войны в цветах политической карты снова стало трудно разбираться. Во-первых, из-за исчезновения Югославии, развала советской империи и мирного изменения границ в Чехословакии и Германии возникло много новых государств, особенно в Европе и Средней Азии.

Во-вторых, критерии для выбора цвета стали еще более сложными. Как теперь пометить Россию, которая уже не является Советским Союзом? Принадлежит ли она к западному европейскому миру, что, возможно, в культурном смысле справедливо, или к Азии, что больше соответствует ее политической культуре, учитывая традиционное заигрывание русских с «восточной деспотией»? Следует ли демократические страны определять по функционированию избирательного процесса, несмотря на опасность спутать государства с так называемыми нелиберальными демократиями, наподобие Ирана, со старыми странами, где демократия основана на верховенстве права? Следует ли ставить в основу классификации религиозность или веру, чтобы отнести Китай и Европу к одной категории светских государств, в то время как Соединенные Штаты, Индия и мир ислама в этом случае образуют подобие духовного и религиозного блока? Какова достоверность карт вероисповеданий, если в некоторых регионах подобно Европе происходит значительное сокращение практики христианства, если судить по количеству рабочих мест для священников и посещаемости церквей?

Совершенно очевидно, таким образом, что даже «объективные» факторы, обожаемые сторонниками научного, позитивистского подхода к истории, в основе своей являются глубоко субъективными.

Иначе говоря, картирование эмоций весьма нелегкая задача. Ведь если даже составление классических политических карт становится все более трудной задачей, картирование эмоций наверняка будет выглядеть фантазией или, возможно, опасной иллюзией, поверхностным и

потенциально рискованным предприятием, в основе которого лежит субъективность, упрощение, манихейский взгляд на мир.

Установление связи между эмоциями и цветами — задача в принципе проблематичная. Каковы могут быть цвета эмоций? В разных культурах цветовые ассоциации различаются. Следует ли обозначить зеленым унижение из-за того, что это цвет ислама, или зависть — из-за того, что на Западе говорят: «Позеленел от зависти»? Следует ли страх метить красным, а надежду — голубым, или наоборот? Насколько будет соответствовать обозначение штатов в США как «красных» или «голубых» (то есть таких, где население голосует либо за республиканцев, либо за демократов) американской политической традиции? В одних странах цвет страдания черный, в других — белый.

Нужно быть по-настоящему гениальным художником, чтобы уловить тончайшие нюансы цветов, характеризующих мир эмоций. Даже великие художники вроде Тёрнера или Моне вряд ли смогли бы этого добиться, особенно в современном сложном мире.

Другой причиной сложности картирования эмоций является рост относительности географического положения в нашу глобальную эпоху. Для многих сегодня география уже не данность, а результат выбора. Возьмите, например, Объединенные Арабские Эмираты. В географическом смысле они расположены на Ближнем Востоке. Однако в психологическом, экономическом и эмоциональном смыслах они в Азии, поскольку совершенно сознательно и намеренно присоединились к культуре надежды, чему способствовало сочетание огромных залежей энергоносителей, малой территории и немногочисленного населения. Они явно следуют образцу Сингапура. Дубай соревнуется с Малайзией за право обладать самым высоким зданием в мире. Башни оптимизма этих стран уходят высоко в небо, они словно заявляют об уверенности в своих силах посреди региона, охваченного подозрительностью и насилием.

Разумеется, Дубай заплатил за свою культуру надежды для немногих жалкими условиями существования тех, кто

сделал возможными эти географические и психологические перемены. И все же разве эти люди, в большинстве своем рабочие-иммигранты, живут хуже миллионов остальных людей из их окружения? Им, по крайней мере, удастся прокормить оставшиеся дома семьи. В целом к достижениям Арабских Эмиратов следует относиться с уважением. Они служат свидетельством силы человеческой воли, а также того, что ислам и современность вполне совместимы.

Если бы благодаря некоей магической или божественной силе Израиль сумел покинуть Ближний Восток, большинство израильтян наверняка испытали бы удовлетворение, поскольку не прочь либо присоединиться к азиатской сфере процветания, либо вернуться в Европу, туда, где разворачивалась трагедия их народа и в то же время где на протяжении столетий евреи успешно интегрировались в жизнь соответствующих стран. Я до сих пор помню израильского профессора, чья семья была родом из Германии. Когда мы шли с ней по улицам Берлина в разгар второй интифады, она вынула из кармана свой германский паспорт и с печальной иронией произнесла: «Этот паспорт — моя страховка». И в самом деле, количество граждан Израиля, переехавших в Германию в 2006 г., выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом и составило более 4000 человек. Рост количества израильтян, уезжающих жить за границу, становится тревожным для страны — ведь это утечка мозгов.

Этот процесс, в случае Израиля довольно скромный, достиг огромных размеров в Палестине и Ливане, не говоря уже об Ираке, из которого хлынул настоящий поток эмигрантов: более 4 миллионов покинули места постоянного проживания, причем половина из них просто уехала из страны, раздираемой ужасами гражданской войны, и пытается выжить в Сирии или в Иордании, а остальные остаются беженцами у себя на родине.

Географическая перетасовка охватывает не только демографию, но и эмоции. Ближний Восток экспортирует не только своих граждан, но и свои страсти. «Азиатизация»

стран Персидского залива находит отклик в «арабизации» исламской Азии на всем континенте от Индии до Таиланда. Радикальные религиозные чувства, распространяющиеся с Ближнего Востока, в течение последних пятнадцати лет все шире распространялись по исламской Азии. Разве можно быть добрым мусульманином, если ты не чувствуешь себя, как араб, не ведешь себя, как араб, не разделяешь заботу о судьбе палестинцев, о сопротивлении «истинно верующих» американским и сионистским империалистам? Террористические группы в разных странах от Алжира до Саудовской Аравии финансировались «благотворителями», которые находят поддержку в основном в Азии, а мусульманские меньшинства континента на всем протяжении от Индии до Таиланда стали еще более нетерпимыми из-за их арабизации в плане эмоций и культурной идентификации. От Сингапура до Китая, от Индии до Малайзии радикализация ислама вызывает серьезное беспокойство всего мира.

Разумеется, распространение исламского фундаментализма в Азии вызвано не только арабизацией чувств мусульман, оно стало порождением самой Южной Азии. Будучи страной, в основе которой лежит только религия, единственной подобной страной в мире, кроме Израиля, Пакистан стал эпицентром исламизма. Аль-Каида очень рано внедрила свои террористические сети в этой стране. Сегодня, благодаря слабости своей политической системы, Пакистан является не только убежищем для афганских мятежников, но и сам стал медленно погружаться в хаос, что вызывает серьезные опасения в отношении страны, обладающей ядерным оружием. Два взаимно усиливающихся фактора процесса исламизации (или даже джихадизации), первый из которых имеет корни в Азии, а второй импортирован с Ближнего Востока, делают его опасной бомбой с часовым механизмом, готовой взорваться в любой момент. Сегодня малайзийское правительство признает эту реальность, стараясь одновременно и бороться с этой проблемой, и изменить (без особого успеха) свой имидж на международной арене после двадцатидвухлетнего правле-

ния премьер-министра Махатхира Мохамеда, который открыто заигрывал с исламом и, не стесняясь, пользовался антисемитской риторикой.

Распространение ближневосточных противоречий по планете не ограничивается только Азией. Этот процесс идет и на Западе, в особенности на Европейском континенте. Попытка врачей-индийцев совершить крупные террористические акты в Лондоне и Глазго летом 2007 года — особенно яркое проявление этого процесса после мадридской трагедии в марте 2004 года и лондонских событий июля 2005-го. Существование в Великобритании террористической сети, базирующейся в Индии, это признак того, что Индия тоже несвободна от исламского фундаментализма и, следовательно, в более общем смысле демократия неспособна предоставить защиту от экстремистских поползновений со стороны озлобленных и полных решимости меньшинств.

Однако признать влияние ситуации на Ближнем Востоке на положение дел в мире — это одно. Видеть мир только сквозь призму этого процесса — совсем другое. Нельзя реагировать на чрезвычайную сложность мира упрощенными обобщениями и чересчур простыми ответами. Картирование эмоций — трудное предприятие не только из-за существования сильных разнонаправленных течений и их взаимовлияния, но и из-за того, что страх, унижение и надежда всегда присутствуют в разных пропорциях, в зависимости от континента, региона, страны, и прежде всего в зависимости от исторического периода. Другими словами, в Европе существуют анклавы Азии наряду с анклавами Ближнего Востока — одни оказывают положительное воздействие, другие потенциально опасны.

Посмотрим, например, на Эстонию, одну из самых динамичных стран Европы, в которой за последнее время валовой национальный продукт ежегодно увеличивался на 10%, что ставило ее по экономическим показателям ближе к Азии, чем к остальной Европе. В действительности вся Северная Европа за пределами балтийских республик, за исключением Ирландии, скорее является частью культуры

надежды, чем культуры страха. В Северной Америке сдержанный оптимизм и заметные экономические и социальные успехи Канады основаны скорее на надежде новоазиатского типа, а не на страхе ее мощного соседа, Соединенных Штатов. А в Азии, на континенте надежды, мы видим самую большую концентрацию беднейших слоев в мире и страны, постоянно страдающие от природных катастроф (Бангладеш, Индонезия) и от распространения насилия (Афганистан, Пакистан, даже Тибет). И здесь тоже опасность упрощенного мышления очевидна.

Еще одна трудность связана с тем, что даже такие географические понятия, как «Азия», «Запад», «Ближний Восток», по большей части являются искусственными построениями. Азия в значительной степени является категорией западной, если и не изобретением Запада. Японцы не считают себя азиатами, и остальная часть Азии не любит их именно как японцев. Подобно хамелеонам, они подражают Западу, одновременно оставаясь для западного сознания самой, может быть, таинственной и непроницаемой из всех наций Азии. Индия представляет собой нечто вроде промежуточной зоны между Европой и Китаем, а также между буддизмом и исламом. А что касается Китая, разве не видит он себя центром цивилизации, а не частью более крупного образования?

Да и само понятие Запада как такового выглядит все более искусственным, особенно если рассматривать его с точки зрения самого Запада. Не следует ли говорить в действительности о двух Западах: о том, в котором господствуют США, и другом, который возглавляет ЕС, и не грозит ли этим двум мирам все большее отчуждение в культурной и политической сферах?

В то же время представляется, будто Ближний Восток растет, охватывая Алжир, Тунис и Марокко на западе и Пакистан с Афганистаном на востоке. И все же он, на самом деле, как никогда разнороден. Иранцы не имеют ничего общего с арабами и тем более с турками. Турция по своему современному географическому положению, безусловно, азиатская страна, в то время как турецкая элита, рассматри-

ваемая большинством европейцев как азиатско-мусульманская, объявляет себя европейской и хочет присоединиться к Евросоюзу.

Представления о самом себе не всегда соответствуют действительности. Мы можем обратиться к всемирному спорту, чтобы обнаружить важные свидетельства. В таких игровых видах спорта, как футбол или баскетбол, Израиль является частью Европы, и израильтяне эта ситуация радуется, но это не способствует региональной интеграции страны на Ближнем Востоке. А то, что израильские спортсмены считаются «европейцами», совсем не служит поводом для присоединения Израиля к Европейскому союзу.

Почему эмоции важны

Совершенно очевидно, что разделить мир на регионы на основании эмоциональных критериев чрезвычайно трудно. Тем не менее можно попытаться набросать глобальную карту эмоций, поскольку доминирующие эмоции, как и доминирующие цвета в живописи, существуют. Даже если различные оттенки присутствуют везде, они будут более светлыми в преуспевающей Азии, более темными на Западе, и почти черными в некоторых местах Ближнего Востока. Задача правительств состоит в изучении эмоций своих народов, чтобы суметь воспользоваться ими, если они позитивны, или постараться изменить, если они негативны. С этой задачей невозможно справиться, не поставив предварительно диагноза эмоционального состояния населения.

Эмоции, как и времена года, носят циклический характер. Эти циклы могут быть долгими и короткими, в зависимости от культуры, от событий в мире, от развития экономической и политической ситуации. Как я говорил, в современном мире даже крупная победа в спорте может создать чувство восторга, которое хоть и не сохранится надолго, но может привести к серьезным последствиям. Китайцы вложили много сил в Олимпиаду 2008 г. в Пекине, чтобы подтвердить международный статус своей страны, пусть даже

проведение Олимпийских игр в столице Китая было следствием этого статуса, а никак не его причиной.

Эмоции отражают степень уверенности общества в самом себе. Именно эта степень уверенности, в свою очередь, определяет способность общества возродиться после кризиса, противостоять вызовам, приспособиться к изменяющимся обстоятельствам. На мой взгляд, именно благодаря эмоциям в коллективной душе народа — такого, как китайский или индийский, страны получают больше возможности возродиться после современного экономического кризиса, чем Европа.

И, что самое главное, эмоции могут изменяться. Надежда может прийти на смену страху. В значительной степени привлекательность Барака Обамы на президентских выборах состояла в его готовности стать лидером страны, который положит начало новому позитивному эмоциональному циклу в Америке, и это найдет отражение в том, как американцы видят самих себя и как весь остальной мир воспринимает Америку. А в сегодняшней Франции, наоборот, рабочие, промышленники, бизнесмены и банкиры — все погрузились в тяжелые пессимистические настроения, а политические речи почти лишены волевых изъявлений надежды.

Главный пункт моей аргументации при анализе эмоций на геополитической арене таков: эмоции имеют значение. Они оказывают влияние на настроения народов, на отношения между культурами и на поведение наций. Ни политические лидеры, ни историки, ни обычные заинтересованные люди не могут себе позволить их игнорировать. Создание эмоциональной картины нашего мира может показаться опасным занятием, однако делать вид, что такой картины вовсе не существует, было бы еще опасней.

Глава вторая Культура надежды

Если мы постараемся и будем работать изо всех сил, будущее станет прекрасным. Я пришел сюда, чтобы построить новое общество. Людям нужны новые дома. Я зарабатываю деньги, но мы здесь не только ради денег. Тридцать лет назад Китай был почти как Ангола; он не был хорош тогда, но сейчас он стал прекраснее.

Слова Сюбао Дина, китайского рабочего в Анголе, процитированные Алеком Расселом в статье «Новые колониалисты» в газете Financial Times 17–18 ноября 2007 г.

Надежда — это уверенность

В западном мире понятие надежды имеет два разных значения. Существует надежда в духовном смысле этого слова как вера в спасение человечества через искупление греха. В то же время существует светское значение этого слова. Надежда как вера в свою идентичность и в способность положительно взаимодействовать с окружающим миром. Слова китайского рабочего, приведенные выше, иллюстрируют скорее постмодернистское, светское значение надежды. Надежда — это противоположность смирения, форма уверенности, которая заставляет нас двигаться по направлению к другим, не опасаясь, что они сильно от нас отличаются.

Можно ли извлечь урок из того, что надежда переместилась с Запада на Восток — из мира, в котором господствует христианство, в преимущественно пантеистический мир, где преобладает секуляризм (как в Китае) или где религиозность больше не является препятствием к росту (как в Индии)? Неслучайно одно из лучших исследований «индийского чуда», написанное английским журналистом Эдвардом

Люсом, озаглавлено «Наперекор Богам: возникновение современной Индии»*.

Надежда не просто переместилась на Восток, у нее появился материалистический, светский оттенок, и духовное значение этого слова начинает терять свое значение. В XXI веке надежда основывается на достижении лучшего в этом мире здесь и сейчас, а не на вере в существование некоего лучшего будущего, будь то на земле или на небесах. Несмотря на традиционную веру в переселение душ, столь распространенную по всей Азии, все большее количество китайцев, индийцев и других азиатов стремятся добиваться как можно большего, в индивидуальном плане и коллективно, во время их сегодняшнего пребывания на Земле, словно они оказались под влиянием так называемой протестантской этики, которая была движущей силой экономического роста Запада (что демонстрирует, кстати говоря, светская этика в Европе еще в XVIII–XIX веках).

Сегодня надежда связана с наделением человека экономической и общественной властью, и она обретается в основном на Востоке. Более того, для значительного количества азиатов важны не только стремление догнать Запад, но и уверенность в своей способности сделать это. Если вера — это «надежда на духовное», азиатский мир устойчиво движется за пределы веры, надеясь на материальный прогресс, который можно увидеть, услышать, пощупать, попробовать и испытать в стремительно меняющемся окружающем мире.

Азиатская надежда

Посмотрите на пейзаж Пудуна, нового района Шанхая, который стремительно превращается в финансовый узел национального значения в Китае. До 1990 г. на месте горде-

* См.: Edward Luce. In Spite of the Gods: The Rise of Modern India. — Boston: Litde, Brown, 2006.

ливых небоскребов расстились простые крестьянские поля. Сейчас здесь все кипит энергией. Архитектурные стили, выбранные теми, кто планировал застройку, выражают современность и уверенность в себе, оптимистический взгляд на будущее. Архитекторам, в большинстве своем китайцам, а также нескольким западным специалистам, предоставили (в пределах весьма косной политической системы) полную свободу, им сказали: «Будьте изобретательными, будьте смелыми, стройте высоко, будьте современными». Результат сверкает на солнце. Где еще в мире можно увидеть такие футуристические башни, от одного вида которых захватывает дух: 88-этажная, многоуровневая башня Цзинь Мао; Всемирный финансовый центр Шанхая (второй по высоте небоскреб в мире); телевизионная башня Жемчужина Востока (в ее конструкцию вписаны одиннадцать сфер разного размера); и недавнее прибавление, Шанхайский центр, строящийся небоскреб высотой 580 м. (127 этажей, уходящих в небо). Это архитектура XXI века — часто в лучших ее проявлениях, иногда в худших, но всегда дерзновенная.

Пейзаж Пудуна — это не последнее издыхание устаревшего стиля парижской Оперы, построенной Шарлем Гарнье для Наполеона III, свидетельство помпезного самомнения вот-вот готовой обрушиться империи. Стил Пудуна не похож и на вычурный и напыщенный стиль русской архитектуры путинского периода. Это нечто, сознательно объединяющее два подхода к современности — западный и азиатский. Это наглядное свидетельство того, что современность больше нельзя ассоциировать с западностью и одновременно знак того, что из Азии выйдет еще одна школа современности.

Перейдем от архитектуры к опере. «Обезьяна: путешествие на Запад», британская опера, основанная на классическом шедевре китайской литературы «Путешествие на Запад», была представлена в сезоне 2007–2008 гг. в Манчестере, Париже и Берлине. Спектакль построен на синтезе западной поп-музыки, традиций китайского танца и цирка, и прежде всего современности. Зрелище можно

охарактеризовать как культурный НЛЮ эпохи глобализации или одно из множества предзнаменований новой культурной эры. Это прежде всего демонстрация уверенности в себе Китая, который позволил подвергнуть свои классические тексты самой современной интерпретации, сочетающей западное и китайское влияние. Это возвращение к более раннему, уверенному в себе имперскому Китаю XVIII века, когда императоры не боялись разрешать китайским художникам создавать картины и рисунки в «иезуитском» (западном) стиле. Только нестабильная страна ощущает необходимость оградить себя от иностранного влияния. Уверенность в себе и культурная открытость взаимопереплетаются.

(Культурная уверенность в себе современного Китая, однако, имеет свои ограничения. Когда одна из известнейших китайских актрис Чжан Цзы сыграла японскую проститутку в голливудском фильме «Мемуары гейши», отзывы были далеки от положительных. Многие утверждали, что она опозорила Китай и зашла слишком далеко, когда согласилась сыграть такую роль в американском фильме.)

Перейдем теперь к миру моды, где также растет влияние молодых дизайнеров из Азии — японских, китайских и особенно индийских. Например, впервые осеннюю неделю моды в Париже в 2007 г. открыл индийский модельер (Маниш Арора) — в его показе соединились современность и популярные индийские образы. Подобные парады моды представляют еще один вариант взаимовлияния культур, которые выработали и обрели такую уверенность в себе. Индийцам и китайцам больше не нужно занимать культурную оборону (или нападать); они могут просто оставаться самими собой, представляя уникальные продукты смешанного влияния, нашего и их собственного. Они признают то, чем они обязаны Западу, и понимают, что мы у себя на Западе тоже изменились в результате нашей встречи.

Весьма поучительно рассмотреть, как «перекрестное опыление» в сфере культуры изменилось за последние десятилетия. Известно, что азиатское влияние, в особенности

китайское, помогло сформировать модный стиль рококо в Европе XVIII века, а европейские художники-импрессионисты и поэты-символисты конца XIX в. испытывали сильное влияние Японии. В то время Азия для Европы представляла поэзию, а Европа для Азии — современность. Сегодня части этого уравнения поменялись местами: Азия служит образцом будущего, в то время как Европа выражает славное, но уходящее прошлое. Такая перемена ставит перед обоими континентами серьезные проблемы. Станет ли Европа в глазах Азии преимущественно музеем? Не теряет ли Азия свою уникальность в результате глобализации, хоть она и приближается к господствующему положению в мировой культуре, когда-то занимаемому Западом?

Между Западом и Азией, несомненно, возникло определенное чувство равновесия, если мы обратим внимание, скажем, на медицину, где такие традиционные китайские приемы, как акупунктура, вполне успешно сосуществуют с современной западной практикой, причем не только в Азии, но и во многих больницах, клиниках и медицинских учреждениях Европы и Америки. А популярность индийских фильмов? Голливуд вырос настолько, что сегодня индийские кинозвезды помогают возродить жанр музыкальной комедии в западном кино. За последние двадцать девять лет (в случае Китая) и восемнадцать лет (в случае Индии) их мощные экономики росли каждый год в среднем почти на 10%. Индийский журналист и политик Джайрам Рамеш ввел в этой связи в оборот термин «Киндия» как самый простой способ для обозначения двух стремительно растущих и густонаселенных стран Азии*.

Термин получился удобный, хотя в нем и заложено глубинное противоречие, учитывая, что Китай и Индия не относятся к одной и той же категории по экономическому влиянию. По населению, валовому национальному продукту и другим показателям уровня жизни Китай вдвое превосходит Индию. Однако, если добавить к 350 млн китайцев,

* См.: Jairam Ramesh. Making Sense of Chindia. — New Delhi: New Delhi Research Press, 2006.

которые перешли в средний класс, более чем 350 млн индусов, добившихся того же, мы получим самый крупный конгломерат из новых гигантов мира, единицу, включающую более 700 млн человек, преобразующих международную экономику и даже стратегический порядок в мире. Термин «Киндия» относится к этим 700 миллионам. Вопрос в другом: хватит ли сил у этого локомотива, чтобы вытянуть сотни миллионов жителей своих стран из бедности и неравенства?

В более широком смысле Киндия обозначает две совершенно разные цивилизации, обе из которых достаточно сильны и уверены в себе, чтобы открыться навстречу миру и подвергнуть свою культурную сущность испытанию другими. Однако уверенность Киндии в себе избирательна. В случае Китая она не распространяется на сферу политики, поскольку лидеры Китая не разделяют действительного понимания значения свободы и демократии, и их противоречивая приверженность одновременно и коммунизму, и капитализму окажется, возможно, нежизнеспособной даже на относительно коротком историческом отрезке. Не распространяется она также на контроль и управление «имперской политикой» Китая. Жестокое подавление выступлений в Тибете весной 2008 г. отражало близкий к паническому страх китайского руководства перед опасностью подобных возмущений в других частях империи.

В действительности в Китае наблюдается сосуществование двух разновидностей национализма: национализма оборонительного, подразумевающего прекращение любой деятельности, которая могла бы угрожать империи, и позитивного национализма, который лучится оптимизмом и уверенностью в себе. (Согласно опросу американского исследовательского центра Пью, китайцы — самые оптимистически настроенные люди в мире*.)

Однако уверенность в себе, характеризующая Киндию, не охватывает массы бедных людей, которые, несмотря на

* См.: Pew Global Attitude Project. China's Optimism: Prosperity Brings Satisfaction and Hope, 16 ноября 2005.

свою многочисленность, не определяют направление развития страны, но которые способны, если они придут в отчаяние, разрушить логику надежды во всем регионе.

Тем не менее, пока установка на прогресс среди встающих на ноги миллионов перевешивает отчаяние, гнев и голод бедного большинства, культура надежды будет преобладать в Индии. И не только там. Регион надежды включает также членов АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, куда входят Камбоджа, Бруней, Лаос, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Бирма, Вьетнам, Филиппины и Сингапур, председательствовавший в ассоциации в 2008 году). Пусть неровно и неравномерно, страны АСЕАН тоже развиваются; они самоотверженно преодолели финансовый крах 1998 г. и связанные с ним политические беспорядки и вполне оправданно повторили вслед за своими процветающими соседями: «Мы тоже можем сделать это. Мы вам это покажем».

Разумеется, характеристика всего региона, включающего названную группу стран, группу надежды, неизбежно звучит как провокация и, пожалуй, отдает упрощением. Поэтому рассмотрим некоторые оговорки и допущения, к которым нужно отнестись серьезно.

Во-первых, как уже было отмечено, само понятие Азии преимущественно западное. Азиаты не считают себя от природы азиатами и не называют себя так — по крайней мере не настолько, насколько европейцы считают себя европейцами. Азиаты не имеют общей религии в том смысле, в котором европейцы разделяют сложный сплав (сегодня несколько разбавленный) православной, иудейской и римской католической культур, который называется иудеохристианством. У них нет общей истории. У них нет общего врага (которым был когда-то ислам для христианских народов Европы). У них нет общих культурных ориентиров. Например, в упоминавшемся выше китайском романе «Путешествие на Запад», слово «Запад» относится к Индии. Весьма характерно также то, что единственный музей азиатской цивилизации в Азии существует в маленьком городе-государстве Сингапуре, где английский язык, объявлен-

ный официальным, объединяет китайское, малайское и индийское население страны.

Во-вторых, культура надежды не охватывает все страны Азии. Как будет показано дальше, такая крупная страна, как Япония, уже, можно сказать, ареал надежды, который сейчас охватывает остальную часть континента, в то время как другие страны — от Пакистана до Филиппин — пока остаются вне этой зоны.

В Пакистане, одной из самых противоречивых и раздираемых проблемами стран в мире, на уровне элиты и нарождающегося небольшого среднего класса просматривается нечто вроде проблеска современности и ощущения того, что необходимо сделать, чтобы подняться выше исламского фундаментализма и насилия и чтобы страна присоединилась к азиатской культуре надежды. Но это осознает лишь небольшой сегмент населения. Пакистан — одна из самых беспокойных стран в мире, и не только потому, что это ядерная держава, но и потому, что она находится, судя по всему, на грани политического краха. Когда идешь по улицам Карачи, ощущаешь, будто полные надежды Пекин или Дели находятся где-то далеко, на противоположном краю света.

В противоположность Пакистану, Северная Корея сегодня кажется менее опасной, хоть она и представляется скорее жертвой жестокой и циничной политической секты, управляющей страной, чем наполненным надеждой сосудом. А Бирму (Мьянму), несмотря на богатые природные ресурсы, стащили вниз по лестнице роста и процветания репрессивные действия жестокой военной хунты, коррумпированной и систематически злоупотребляющей властью, превратившей свою страну в азиатский аналог Зимбабве в руках Роберта Мугабе.

Весной 2008 г. Бирма и Китай столкнулись с тяжелейшим последствием природных катаклизмов: циклона в Бирме и землетрясения в Китае. Их реакцию нельзя не назвать противоположной. Ответственное поведение китайцев ярко контрастировало с некомпетентной, деспотической жестокостью военной хунты в Мьянме. Разумеется,

китайцы увидели в природной катастрофе, произошедшей накануне Олимпийских игр, возможность исправить имидж страны, подпорченный событиями в Тибете. Попытки правительства задушить голоса гражданского общества, требующего расследования причин, почему дети китайцев погибли в плохо построенных школах, могут означать, что маятник политики снова качнулся в сторону репрессий.

Если в Мьянме и есть чувство надежды, оно наблюдается у героического лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии (1991 г.), Аун Сан Су Чжи, бросившей вызов хунте, и в духовном сопротивлении буддистских жрецов. Этой стране удалось почти полностью изолировать себя от международного влияния, поэтому санкции против Мьянмы должны сосредотачиваться скорее не на изоляции режима, а на том, чтобы открыть глаза его руководству на реальность мира за пределами их национального гетто.

Разумеется, мое описание Азии как континента надежды и включение в эту зону стран наподобие Филиппин и Индонезии, находящихся на окраине надежды, учитывая заметный экономический прогресс в этих странах, является односторонним и слегка преувеличенным, но, я думаю, в основе своей вполне объективным.

Возвращение Срединной империи

Когда об Азии говорят как о континенте надежды, подразумевают прежде всего Китай и Индию. Экономический подъем в этих демографических великанах был по-настоящему впечатляющим, несмотря на столь же гигантские недостатки. И все же каждая из этих стран по-своему уникальна и ничем не похожа на другую.

«Китай вернулся»* — таково было открытое послание выставки под названием «Китай: три императора», прохо-

* См.: China: The Three Emperors, 1662–1795. // London: Exhibit at the Royal Academy of Arts, ноябрь 2005 — апрель 2006.

дившей под эгидой китайского правительства в Королевской академии искусств Лондона осенью — весной 2005–2006 годов.

Центральным экспонатом выставки стала огромная картина в европейском («иезуитском») стиле, довольно популярном в Китае XVIII века. На ней изображена череда европейских посланников, приносящих дань китайскому императору. Китайцы не могли выразиться яснее: мол, «Вы тоже скоро будете платить нам дань». Разумеется, в сегодняшнем Китае императора нет, есть только вежливая, загадочная, сравнительно компетентная бюрократия, возглавляемая Ху Цзиньтао. Однако есть также несомненное чувство гордости и самоуверенности, вызванной тем, чем Китай был вчера, и тем, чем он снова становится.

Во время моей первой поездки в Китай в 1985 г. первым памятником, который я должен был осмотреть, была гигантская плотина на реке Янцзы. «Мы были первым народом в истории человечества, который овладел искусством строительства плотин», — вот первое, что гид из дипломатической службы хотел мне сообщить. Как это ни удивительно, он также сообщил мне о своем глубоком разочаровании в собственной жизни. Он считал себя неудачником и почти лопался от злости, когда сопровождал меня обратно в роскошный отель для иностранцев и увидел, что мой номер больше, чем вся квартира, в которой живет его семья. «Я сделал огромную ошибку, когда пошел работать в дипломатическую службу, — сказал он. — Мне следовало стать бизнесменом». Интересно, что с ним сегодня, удалось ли ему воплотить свою капиталистическую мечту?

Контраст между гордостью и разочарованием составил мое первое впечатление от Китая середины 1980-х. И сегодня эти чувства сильны в Китае, поскольку разочарование в каком-то смысле является побочным продуктом надежды: чем большего вы добиваетесь, тем больше запросы и ожидания.

Чтобы понять специфическую природу китайской души, полезно было бы рассмотреть разницу между Китаем и Египтом. И китайская, и египетская цивилизации

были древнейшими и богатейшими в мире. Однако высокая египетская цивилизация давно исчезла (несмотря на все попытки лидеров современного Египта взывать к былой славе и требовать почтения к своим заслугам). Традиционная китайская цивилизация, в отличие от Египта, существует до сих пор. Она уникальна и несколько не изменилась, пройдя испытание временем. Такая преемственность порождает одновременно и проблемы, и творческие возможности.

Китай всегда был самой населенной страной на Земле, и правители страны всегда панически боялись социальных и экономических беспорядков. Этот страх заставил их создать систему, в которой отдельные личности должны подчиняться коллективной логике, а не своей собственной.

Размер Китая также существенным образом повлиял на национальную психологию. Самовосприятие Китая как Срединной империи подразумевало не просто центральное положение в географическом смысле, за ним стояла убежденность, что Китай, в каком-то смысле, является центром тяжести Вселенной. В отличие от России (к примеру), эта громадная и полная самоуверенности империя не нуждалась в расширении, чтобы обеспечить свое существование. Великая китайская стена обеспечивала Китаю безопасность и в то же время словно подчеркивала отсутствие необходимости захватывать другие страны, чтобы ощущать собственную значительность. Китай, разумеется, расширялся, но его территориальный рост происходил не благодаря мощи оружия, а за счет демографии, то есть количества самих китайцев, которых режим использовал в качестве колонизирующей и управляемой силы. Не так давно, например, правительство способствовало крупному переселению ханьских китайцев в Тибет и Синьцзян, где власти опасаются пантюркских и панисламистских подрывных движений. В Центральной Азии Китай тоже разыграл демографическую карту: там, по словам американского профессора Гарри Дж. Гелбера, цитирующего неофициальные источники, к 2004 г. уже было по крайней мере 300 тыс. китайцев, в основном торговцев, в одном

только Казахстане*. (В последнее время, правда, благодаря росту китайской экономики количество китайцев, в частности в Сибири, начинает, видимо, уменьшаться. Похоже, на родине у китайцев стало больше возможностей найти работу.)

Другим измерением демографической составляющей является культурное наследие. Китайское влияние во всем мире увеличивается за счет активности китайской диаспоры, миллионов этнических китайцев и их потомков, пустивших глубокие корни в бизнесе, культуре и политике всего мира, преимущественно, правда, в юго-восточной Азии, но и за ее пределами тоже. Пекин может полагаться на китайскую диаспору, в особенности сегодня, в период экономического роста и роста национальной гордости, как на драгоценный канал влияния и фактор при заключении деловых соглашений.

Поэтому, с точки зрения только территориальных экспансионистских амбиций, сравнение современного Китая, в частности, с Германией конца XIX века, которое иногда проводят западные аналитики, едва ли правомерно. Соперничество между Китаем, Индией и Японией не будет формировать будущее Азии так же, как соперничество между Великобританией, Францией, Россией и Германией формировало Европу (и остальной мир) в XIX и начале XX века, и азиаты не будут уничтожать себя в межнациональных войнах, как убеждены некоторые западные обозреватели. Различий между тогдашней Германией и сегодняшним Китаем гораздо больше, чем сходства. Только что объединившаяся Германия очень торопилась, в особенности после ухода влиятельного канцлера Бисмарка, который был единственным человеком, способным оказывать сдерживающее влияние на кайзера Вильгельма II. Она была одновременно и чересчур самоуверенна, и нестабильна. Вновь же встающая на ноги китайская империя, наоборот, обладает чув-

* См.: Harry G. Gelber. *The Dragon and the Foreign Devils*. — New York: Walker and Co., 2007. — P. 415–416.

ством времени бесконечно более развитым, чем то, которое есть у нас на Западе. Китайцы далеки от чрезмерной самоуверенности, они глубоко осознают масштаб проблем и противоречий, которые им нужно преодолеть, а также свою уязвимость.

Если уж искать аналог современному Китаю в Европе XIX века, я бы предложил взглянуть не на Германию, а напомнил обращение к французским гражданам Франсуа Гизо, премьер-министра при короле Франции Луи-Филиппе: «Богатейте и ведите себя тихо». Однако что случится, когда такой «договор» будет нарушен? Будут ли китайцы сидеть тихо, если перестанут богатеть?

И все же, хотя Китай осознает свою уязвимость, он сохраняет убеждение в том, что время работает на него. Это убеждение усилили и события 11 сентября 2001 г., и американская реакция на чудовищный террористический акт. Эта реакция ускорила «возвращение авторитарных великих держав», отмечал израильский военный историк Азар Гат в журнале «Foreign Affairs»*. Китай считает, что от действий администрации Буша пострадала не только мягкая власть в Америке, но и что усилилась собственная мягкая власть в самом Китае ввиду роста скептического отношения к демократии и правам человека — тем ценностям, которые Америка проповедует, но часто не соблюдает.

Подъем экономически успешных и недемократических стран наподобие Китая и России доказывает Пекину, что его авторитарный подход к управлению страной представляет собой вполне жизнеспособный альтернативный путь развития в современном мире. В своих сделках на африканском континенте китайцы готовы говорить африканским режимам: «В отличие от наших коллег в Америке и Европе, мы не являемся бывшей колониальной державой и не читаем вам лекций о демократии и правах человека. Мы также не являемся новой имперской державой с Востока. Мы просто

* См.: Azar Gat. The Return of Authoritarian Great Powers. // *Foreign Affairs*, июль — август 2007.

закключаем сделки. Нам нужны ваши природные ископаемые, чтобы продолжался рост нашей экономики, а вам нужны наши деньги, чтобы страна начала развиваться. Давайте работать вместе ради взаимного блага».

Очевидно, что новый средний класс Китая и его новые богачи хотят вести западный образ жизни. В действительности самая большая экономическая, экологическая и, пожалуй, политическая проблема мира состоит в том, что хотя 1,3 миллиарда китайцев не прочь жить и тратить деньги, как граждане западных стран, им необязательно, чтобы ими управляли так же, как на Западе. Им нравится наша музыка, наши фильмы, наша пища (в том числе все больше и больше им нравится экологически небезупречная мясная диета) и наша одежда. Но во многом другом они не хотят становиться такими, как мы, даже если сегодня они не имеют еще представления, кем они хотят стать и какую играть роль на международной арене.

Самое важное здесь, является ли этот двойственный подход Китая реалистичным, когда западный капитализм и индивидуалистические экономические амбиции сосуществуют с восточным авторитарным стилем управления. В течение короткого промежутка времени он может оказаться успешным, однако в долгосрочной перспективе все может закончиться плохо. Китаю нужно верховенство права, а также жесткий меркантилизм. Именно отсутствие верховенства права и появившаяся в результате этого коррупция привели к гибели тысяч детей, когда во время землетрясения 2008 года обрушились школы. Народ Китая вряд ли станет мириться с подобными жертвами.

Самолюбие китайского режима создает проблемы и на международной арене. Его отношение к репрессиям, проводившимся генералами в Бирме осенью 2007 г., скажем так, не помогло исправить ситуацию. Китай — это единственная страна мира, которая может оказать реальное давление на Мьянму, и все же он намеренно отказался от возможности использовать свое влияние, по крайней мере сколь-нибудь явным образом. Пекин весьма гневно прореагировал на прием тибетского далай-ламы в США в 2008 году. Такая нев-

ротическая по своему характеру реакция позорит его правительство и портит имидж Китая в мире. А в отношении Китая и России к Ирану при президенте Ахмадинежаде ощущается некое безответственное соперничество, несмотря на всю сложность и противоречивость положения обеих стран. В Африке также наблюдается множество примеров циничных, недальновидных расчетов Китая, когда принцип невмешательства ведет к скрытому криминальному сговору с режимом Омара Хасана аль-Башира в Судане, несмотря на грубейшие нарушения прав человека в провинции Дарфур, и с зловещим режимом Мугабе в Зимбабве. Китаю необходима новая элита, вдохновленная чувством общего блага, если он хочет сохранить стабильность в стране и стать однажды позитивным и ответственным участником международных отношений.

Тем не менее есть слабые признаки того, что Китай начинает вращаться в свою новую роль великой державы на мировой арене. Переход Гонконга под юрисдикцию Китая в середине 1990-х прошел гораздо более гладко, чем ожидало большинство обозревателей. Руководство Китая продемонстрировало достаточно разумный подход, чтобы найти равновесие между полузападным уровнем свобод в Гонконге и необходимостью контроля со стороны китайских властей. Китайское руководство играло позитивную роль на мировой арене в успешном — до сих пор — разрешении северокорейского ядерного кризиса, существенно снизив ядерные амбиции Северной Кореи: оно сумело предотвратить крах страны, что привело бы к возникновению объединенной и более сильной Кореи и вызвало бы поток беженцев через китайские границы.

Более того, оказав помощь в создании Шанхайской группы (вместе с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном), китайцы стали, кажется, играть роль балансира в стиле Европы XIX века, помогая уравновесить западное влияние в Центральной Азии, и делают это гораздо более осторожно, чем их коллеги в XIX веке. По словам Збигнева Бжезинского, бывшего советника по национальной безопасности президента Картера,

которого цитирует Гелбер, «вне всякого сомнения, Китай потихоньку создает весьма успешную сферу процветания в Восточной Азии. Страны региона все больше со справедливым почтением относятся к Китаю, и китайцы с благодарностью это почтение принимают»*.

Было бы грубой ошибкой интерпретировать соответствующие ситуации на международной арене и китайское мышление так, будто Китай — это возмутитель спокойствия и угроза. Нельзя мерить Китай исключительно степенью его приверженности к демократии. Отсутствие демократической подотчетности правительства и недостаток действительного понимания верховенства права — проблема прежде всего для самих китайцев. Мы не можем и не должны навязывать им свои представления. У себя на Западе мы должны рассматривать их поступки отчасти их собственными глазами, причем во многих измерениях, а не в одном, не забывая и не предавая собственных ценностей. Это очень трудное упражнение — развитие равновесия, требующее чуткого отношения к дипломатическим нюансам, не всегда проявляемого западными лидерами, которые часто оказываются зажатыми в тисках противоречий между собственной риторикой о правах человека и защитой национальных коммерческих интересов.

Недостаток свободы и отсутствие независимой судебной системы серьезно тормозят движение Китая на пути к долгосрочному экономическому процветанию и сохранению нормальной экологии. Однако громадное большинство китайцев оценивает своих руководителей по другим критериям. Им нужен материальный прогресс — более приличные жилищные условия и возможность свободно ездить за рубеж, которые определенно имеют для большинства китайцев гораздо большее значение, чем свобода думать, писать и публиковать то, что не согласуется с мнением властей. После целого века страданий, лишений и нищеты, беспорядков и отсутствия безопасности, усугуб-

* Harry G. Gelber. Op. cit., p. 418.

ленных лживой идеологией, большинству китайцев хочется пожить в политически спокойной обстановке. И в то же время они ожидают от своего государства, что оно защитит их от превратностей природы, от загрязнения среды и от грубых злоупотреблений коррумпированных и некомпетентных местных чиновников. Эти потребности, разумеется, приводят к определенным политическим последствиям.

Тем не менее политические изменения очень медленно, но происходят, и вызывает их не внешнее давление, а внутренние факторы, в том числе потребности все более требовательного в социальном смысле среднего класса.

Граждане Китая также начинают требовать большего от своих властей. Кадры, изображавшие женщину, защищающую свой дом, чтобы его не снесли местные власти, несколько лет назад попали в мировые сводки новостей и стали современным символом гражданского сопротивления — для XXI века эта женщина стала аналогом образа студента перед танком на площади Тяньаньмэнь в мае 1989 года. Разумеется, оба проиграли — дом был снесен, а студенческое движение разгромлено, но в скором будущем один из подобных символов может оказаться победоносным.

Путешествуя по глубинке Китая летом 2006 года, мой старший сын видел своими глазами слабые признаки нарождающегося гражданского общества. Пассажиры, чей рейс, соединявший два китайских города, отменили из-за некомпетентности китайского авиаперевозчика, организовали нечто вроде демонстрации. На этот раз представитель авиакомпании не просто «опозорился», он был вынужден выплатить денежную компенсацию пассажирам. После трагедии в Сычуани потерявшие детей родители точно так же требовали справедливости, а не только денежных компенсаций.

Подобное сочетание экономического прогресса и политического застоя будет сохраняться до тех пор, пока господствует надежда, которая сегодня подразумевает прежде всего стремление к экономическому росту.

В действительности китайцы не считают, что им нужно предпринимать серьезные усилия на международной арене

ради повышения престижа страны, ее влияния, авторитета, чтобы рост продолжался. Им просто достаточно пожинать плоды ошибок других, в особенности связанных с чрезмерной, как считают они и многие другие, американской реакцией на исламский фундаментализм. Однажды, как показывают события, они смогут воспользоваться своим появлением на международной политической арене, как появились Соединенные Штаты в 1905 году, когда организовали конференцию в Сан-Франциско, положившую конец русско-японской войне. Китай терпеливо ждет аналогичного события для себя.

Основными препятствиями, способными помешать осуществлению планов терпеливых китайцев, являются, разумеется, Тайвань и Тибет. На кон в обоих случаях поставлены совершенно разные ситуации. Китай управляет Тибетом весьма жестко, в то время как Тайвань с практической точки зрения совершенно независим от Пекина по формуле «Одно государство, две системы».

В конце концов, усиление мощи Китая неизбежно перевесит влияние Америки. Плохо это или нет, Америка, во всяком случае, останется ключевым игроком в Европе и на Ближнем Востоке. Однако, если вспомнить кризисы в отношениях с Северной Кореей и Мьянмой 2008 г., можно задать вопрос: сохранилось ли у США влияние в Восточной Азии? Представляется, что Китай, а не Соединенные Штаты, занимает для Восточной Азии то положение, которое Великобритания имела в Европе на протяжении большей части XIX века — положение противовеса. Разумеется, стремительный рост Китая заставил другие страны Азии, и в особенности Японию, постараться уравновесить влияние Китая, поскольку он, в отличие от Великобритании, держава континентальная, и у нее вполне может появиться искушение расширить свои владения.

Пытаясь сдержать рост власти Китая, Соединенные Штаты полагаются на две козырные карты. Во-первых, они надеются, что экономический рост, основанный на рыночных факторах, заставит Китай принять умеренную демократию, даже если он и не сможет стать полностью демократи-

ческим. Вторая карта — влияние Индии. В самый разгар трансатлантического кризиса, связанного с войной в Ираке в 2003 году, один из высокопоставленных иранских дипломатов торжествующе заметил: «Возможно, мы потеряли пятьсот миллионов европейцев, но мы выиграли более одного миллиарда индусов. Первые находятся в состоянии упадка, а вторые выходят на мировую арену как новая сила».

Обратимся к Индии и посмотрим, обоснованны ли надежды Америки на благоприятное влияние Индии в Азии.

Появление Индии

Если про Китай можно сказать, что он «вернулся», Индия впервые выходит на международную арену. Она не чувствует себя древней империей, восстанавливающей свое центральное положение, она скорее ощущает себя новой страной, которая отметила (в 2008 г.) шестидесятую годовщину независимости, спрашивая себя с гордостью и сомнением: «Мы столь многого достигли за короткое время, но правильно ли мы все сделали?».

Конечно, задача создания новой нации на обширном субконтиненте — это серьезный вызов. Есть ли другая такая страна, в которой имеется столь необычайная смесь этнических групп и языков, религиозных и культурных обычаев? Уинстон Черчилль говорил, что Индия это «чисто географическое выражение. Это такая же единая страна, как и экватор». Однако Индия доказала, что Черчилль был неправ. Эта страна не просто сумма противоречий. Когда-то она могла казаться мифом или идеей, но сегодня стала самой настоящей действительностью.

Если у Индии и нет характерной для Китая истории великой имперской державы, она обладает, тем не менее, богатыми и сильными традициями в совершенно иной области. Шестьдесят лет назад во всех библиотеках мира книги о Индии можно было найти только в разделах, связанных с духовностью, а не с экономикой или политикой. Богатство

Индии имело духовную природу; индийский экономист Амартия Сен напоминает нам, что в Китае 1-го тысячелетия нашей эры обычно называли Индию «буддистским царством». Он пишет в своей книге «Аргументы в пользу Индии: заметки по индийской истории, культуре и идентичности», что именно Ашока, буддистский император Индии, в III веке до нашей эры «не только говорил о необходимости имущества и терпимости, связанных с большим количеством религиозных учений в стране, но и изложил, пожалуй, самые древние правила проведения дебатов, когда к их участникам все относились с почтением»*. Такая традиция терпимости резко контрастировала не только с Китаем, но и с Европой того времени.

Наследие учения «непротивления злу» Махатмы Ганди распространило уникальную составляющую индийской культуры на политическую сферу. Сейчас трудно оценить, что из наследия Ганди сохранилось сегодня. В октябре 2007 г. франко-германский телеканал «Арте» транслировал программу под названием «По пути Ганди», в которой проходило состязание юмористов, названное в честь Ганди. Вот и все, что можно сказать о значении учения и политических уроков Ганди в современной Индии. В той же программе показали, что почти во всех индийских деревнях когда-то вездесущие бюсты Ганди теперь хранятся в муниципальных гаражах. Кажется, будто Индия демонстративно повернулась к нему спиной.

Аналогичным образом, когда Индия стала главной гостьей на Мировом экономическом форуме в Давосе, она отметила это гламурными показами моды и другой сверкающей символикой капиталистического общества потребления. Трудно вообразить, что философ и политический деятель, ходивший полуобнаженным и проповедовавший простоту и аскетизм, мог быть отцом такой новой страны.

Так что внутренние противоречия в Индии не менее глубоки, чем в Китае, просто они имеют иную природу. Индусы

* Amartya Sen. *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity*. — New York: Picador, 2006. — P. XII–XIII.

законно гордятся демократическим статусом своей страны. Описание Индии как «крупнейшей демократии мира» приобрело столь же ритуальный характер, как и «древнейшая цивилизация мира» Китая. Однако эта гордость сосуществует с отвращением к некомпетентности и коррумпированности ее политической элиты — худшей в мире, если верить индийским интеллектуалам. Разумеется, свободные выборы, независимая судебная система, свободная пресса имеют значение, но эти составляющие серьезно ослаблены эрозией коррупции. Что толку в демократии, если верховенство права не осуществляется надлежащим образом?

Другим значительным недостатком индийской демократии является уникальная кастовая система общества. Похоже, что борьба с классовыми различиями (включая кастовую систему) ослабила Индию за последние годы. Мечта Джавахарлала Неру создать социальную систему, в которой отсутствовали бы классовые барьеры, не только не сбылась — кажется, что она медленно улечивается, став жертвой легкомысленного подхода обладающей властью политической элиты и жадности капиталистов, которых больше заботит экономический рост, чем социальная справедливость.

Богатые индусы стараются не видеть того, что огромные массы людей живут в бедности. Их взгляд скользит сквозь них или над их головами со спокойствием, которое отчасти может объясняться существованием кастовой системы. Подсознательно они словно говорят: «Конечно, они очень бедны, но чего от них ждать? Ведь так было всегда, но сегодня по крайней мере их стало меньше и они больше не умирают от голода».

Это правда, абсолютная нищета в Индии значительно сократилась. Сегодня менее 10% населения живут в абсолютной нищете по сравнению с 25% двадцать лет назад. И все же проблема нищеты далеко не решена, и очень обидно видеть, как равнодушно относится к этой проблеме индийская элита.

Во время празднования шестидесятой годовщины независимости Индии премьер-министр Манмохан Сингх обра-

тился к этой проблеме, подчеркивая необходимость не столько продолжения экономического роста, сколько более справедливого распределения благ экономического прогресса. В действительности осуждение социальной несправедливости индийским премьер-министром и китайским премьером прозвучали весьма похоже, словно они пытались подкрепить значимость понятия Киндии, которая требует большей социальной справедливости даже тогда, когда подавляющая часть общественной энергии направлена на достижение экономического роста.

Индия демонстрирует, что современность не приносит с собой автоматически большего равенства. Скорее, она только усугубляет наименее приятные традиции страны. По словам Эдварда Люса, гендерный разрыв между мальчиками и девочками в Индии резко увеличился*. Современность, кажется, усиливает также роль национализма и религии в политике. Кровавые межобщинные столкновения снова вспыхнули в Индии в 2003 г. — тогда погибло более 2000 мусульман. А в 2008 г. террористы напали на Мумбаи, и многие индусы сравнивают эту трагедию с американским 11 сентября, поскольку она продемонстрировала одновременно и уязвимость, и гибкость Индии. Ни светская Европа, ни материалистический Китай не могут предложить Индии подход к разрешению этих проблем. Если такой подход и есть, то он, скорее, напоминает Соединенные Штаты с их (более) стабильным сочетанием светского, не ограниченно-конфессиональной принадлежностью религиозного и всеобщего патриотизма, символом которого служит неофициальный лозунг страны: «Мы верим в Бога». Но способна ли Индия по этому же принципу выработать свой девиз: «Мы верим в богов»?

По сравнению с Китаем в Индии, пожалуй, больше надежды и меньше отчаяния. Очень богатые индусы поражены тем, чего им удалось добиться за столь короткий промежуток времени, и завоеванным ими на международной

* См.: Edward Luce. Op. cit., p. 221 и далее.

арене уважением. Тем не менее, в отличие от китайцев, индусы испытывают глубокие сомнения в своей новой идентичности растущего гиганта. Кажется, что их уверенность, необходимая для того, чтобы занять новое положение на мировой арене, вызвана уважением или даже завистью, то есть теми чувствами, которые остальной мир испытывает к индусам из-за успешного и динамичного роста страны. В мае 2008 г. на президентской конференции в Иерусалиме, организованной в честь шестидесятой годовщины создания государства Израиль, сияли две «звезды». Очевидной, яркой звездой был президент Соединенных Штатов Джордж Буш; более скромной звездой была «Лакшми Миттал», гигантская сталелитейная компания — символ взросления Индии в мире глобализации.

За пределами Индии существует индийская диаспора численностью около 20 млн человек. Ее представители добиваются все больших успехов и влияния, новый международный статус Индии явно придает им уверенность и дает право гордиться своей родиной. Сегодня индийские финансовые аналитики в большом почете в Нью-Йорке и Лондоне; индийские врачи работают в крупнейших медицинских центрах Соединенных Штатов; американец индийского происхождения (хотя и христианин) Пиюш «Бобби» Джиндал, сегодняшний губернатор штата Луизиана, был даже упомянут как потенциальный кандидат на пост вице-президента США на выборах 2008 года.

Растущая уверенность в себе принадлежащих к высшему слою среднего класса индусов, живущих в Индии и за ее пределами, сочетается с баснословной «гибкостью», которую Паван К. Варма описывает в своей книге «Великий средний класс. Что такое быть индийцем» как качество, выработанное веками лишений. «Ни один иностранец не сможет понять, насколько индус готов принять то, что принять невозможно»*, — пишет Варма. До тех пор, пока вера в пере-

* Pavan K. Varma. Being Indian: Inside the Real India. — London: Arrow Books, 2006. — P. 186.

мены будет существовать в отброшенных на периферию экономики общин Индии, надежда будет господствовать в этой стране.

Если уверенность Китая частично основана на его имперском прошлом, уверенность Индии основана на ее видении будущего. Как молодая нация (700 млн из 1,1 млрд индусов моложе двадцати пяти лет), Индия является «обществом одного процента», по словам Т.Н. Нинана, одного из самых уважаемых редакторов страны, которого цитирует Эдвард Люс. «К каким бы показателям вы ни обратились — будь то экономические или социальные, положение Индии улучшается примерно на 1% в год», — считает он. «Если судить по условиям жизни индусов, — продолжает Люс, — а не по драматическим национальным событиям, страна движется вперед по весьма стабильной траектории»*. И все же, чтобы рост продолжался, Индии необходимо построить инфраструктуру, уменьшить неравенство и обуздать коррупцию.

Если сравнивать ее с другими странами, напрашивается вывод о том, что сложное разнообразие плюралистической Индии может быть одной из главных причин сохранения и стабильности демократии в стране. Централизованная природа управления Китая, наоборот, функционирует более эффективно, но одновременно более уязвима в случае стремительного распространения хаоса, вызванного ростом политической нестабильности.

Япония: исключение

Если двухголовый великан Киндия демонстрирует расцвет азиатской надежды, что можно сказать о другой мощной экономике Азии — Японии? Почему эта богатая островная нация не принадлежит полностью к культуре надежды? Рассмотрим коротко те обстоятельства, которые делают Японию исключением среди других стран Азии.

* Edward Luce. Op. cit., p. 336.

Япония, разумеется, первой в Азии совершила экономическое чудо еще в середине 1960-х. Олимпиада 1964 г. в Токио стала праздником японского возрождения менее чем через двадцать лет после конца Второй мировой войны и более чем за сорок лет до того, как Олимпиада пришла в Пекин.

Эта страна-хамелеон из-за своей изолированности, вероятно, самая таинственная и самая трудная для понимания по сравнению с Китаем или Индией. Япония — это живое доказательство того, что современность и уподобление Западу — не одно и то же. Только Запад считает Японию «азиатской» страной. В сегодняшней Азии, по прошествии более 60 лет с конца Второй мировой войны, Япония до сих пор презираема большинством своих соседей как надменная страна «Ниппон». Будучи слишком западными для большинства азиатов, японцы по-прежнему остались слишком азиатами, и люди Запада неспособны полностью их понять.

Одной из ключевых причин непринятия Японии остальной Азией является, разумеется, история и шрамы от прошлых ран, в особенности из-за заигрывания военного руководства страны с фашизмом и нацизмом, а также военный и дипломатический союз Японии с Германией, приведший к трагическим последствиям как для соседей Японии, так и, в конце концов, для самой Японии. В Азии не прошел процесс примирения, который имел место между Германией и ее соседями в Европе. Может быть, японцы, в отличие от немцев, по каким-то глубинным религиозным, культурным или историческим причинам не умеют извиняться? Или же параллель между Японией и Германией, безосновательна и несправедлива? Голландский писатель Иен Бурума* считает, что здесь имеет место сочетание обоих факторов, плюс еще один решающий элемент. Японцы, будучи первыми и, к счастью, пока единственными жертвами атомной бомбардировки, считают, что уже

* См.: Ian Buruma. *The Wages of Guilt: Memories of War in Germany and Japan*. — New York: Vintage Books, 1995.

заплатили огромную цену за свое поведение во время войны, которое они рассматривают как ошибочное, но не обязательно преступное: «Мы будем готовы принести извинения за то, что начали войну в Азии, когда Америка принесет извинения за Хиросиму», — заявил мне бывший японский дипломат во время моего последнего посещения Японии в октябре 2008 года.

Здесь может иметь место еще одно, более глубокое культурное явление. Отношение к прошлому — это один из ключей к будущему, а история, похоже, воспринимается по-разному в Европе и в Азии. На континенте, где существует вера в «повторное рождение», заново созданная копия Золотого павильона в Киото*, сгоревшего дотла, считается столь же аутентичной, как и исходное здание. Может ли подобное восприятие истории объяснить отличия в отношении азиатов к прошлому?

Большинство европейцев, за исключением балканских народов, сумели преодолеть свое прошлое и успешно занялись строительством Европейского союза. У большинства же азиатов, наоборот, до сих пор существует проблема в их отношении с прошлым, и их обращение с ним весьма избирательно и противоречиво. Китайцы, к примеру, пользуются любым поводом, чтобы напомнить о военных преступлениях японцев, но предпочитают забывать собственные мрачные дела, начиная с разгона демонстрантов на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. и кончая недавним подавлением восстания в Тибете.

Даже когда речь идет о таких противоположных эмоциях, как надежда и страх, широкий пролив словно разделяет Японию как от ее соседей по континенту, так и от соответствующих стран Запада.

Национальные страхи японцев традиционно сильно отличаются от страхов западных народов. В страхах японцев

* Трехярусное здание, построенное в 1397 году. Стены двух верхних ярусов были покрыты листовым золотом. В 1950 г. павильон был подожжен безумным монахом и полностью сгорел. Восстановлен в 1955 году. (*Прим. ред.*)

господствует природа. Страх землетрясений, цунами, наводнений заставляет японские семьи держать чемоданчик со всем необходимым у входа в дом. Страхи европейцев, наоборот, сосредоточены на том, что другие люди способны натворить в результате агрессии или вторжения. В определенном смысле японская сосредоточенность на природных катастрофах представляется очень современной, поскольку она исторически предшествует нынешней озабоченности Запада проблемами экологии. Но и здесь различий гораздо больше, чем сходства, поскольку, если Запад озабочен воздействием человека на природу, японцы боятся прямо противоположного.

Тем не менее в настоящее время культура страха Японии не сосредоточена только на природных катастрофах. Это и объясняет, почему Япония не стала частью азиатской культуры надежды и почему сегодня эта страна больше соответствует западной культуре страха. Японская атмосфера сомнения в самой себе имеет уже почти двадцатилетнюю историю: она возникла в 1988–1990 гг., во время финансового краха, вызванного лопнувшим пузырем в сфере недвижимости. В стране начался тогда структурный экономический кризис, продолжавшийся, по крайней мере, до 2002 г. и прихода к власти премьер-министра Дзюньитиро Коидзуми. (Как отмечают многие экономисты, существуют тревожные параллели между драматическими десятилетними переживаниями японцев в 1990-х и финансовым кризисом, разразившимся в Соединенных Штатах в 2008 году. Нам еще предстоит узнать, способно ли американское руководство избежать длительного периода застоя и упадка, подобного тому, который пережила Япония.)

Япония по сей день полностью не оправилась от кризиса 1990-х. Чувствуется, что страна не знает, какова ее природа и куда ей идти. Она болезненно воспринимает тот факт, что Индия сумела оттеснить Японию с позиции главного дипломатического партнера Америки в Азии, а Китай стал главным экономическим партнером Америки и соперником Японии во всем мире. В действительности в политических кругах в Токио, связанных с проведением международной

политики, и особенно в Гаймучо, Министерстве иностранных дел Японии, чувствуется какой-то навязчивый страх Китая. Он отражает болезненное осознание снижения международного статуса Японии, которым она обладала до 1990-х гг., когда была самой влиятельной азиатской страной на мировой арене.

У сомнения Японии в своих силах есть и другие корни. Ее стареющее население скоро станет самым пожилым в мире, и Японии трудно проявлять динамику и энергию, которых требует культура надежды. Уровень самоубийств в Японии, особенно среди молодежи, один из самых высоких в мире. А в японской политической системе, за исключением периода правления Коидзуми, всегда господствовали посредственность и застой. Сами японцы в 1990-х говорили о своей политической системе, что в ней сочетаются худшие черты Мексики и Италии: косность и неэффективность.

В действительности Япония разделяет многие сильные и слабые черты Европы. В обоих регионах присутствуют сильные и динамичные предприятия, функционирует стабильная демократическая система и высококачественная система здравоохранения. Однако оба разделяют склонность к пессимизму, беспокойству и погруженности в себя. Нет ничего удивительного в том, что западная культура страха передалась также и Японии.

В дипломатическом и эмоциональном смысле Япония в целом больше связана с Западом, чем со своими соседями по Азии. Как и другие западные страны — вроде Австралии, Канады и Германии, Япония — страна демократическая, процветающая, неядерная, и она не является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Япония склонна к «страстной умеренности» в своем отношении к остальному миру и часто старается строить мосты через разного рода пропасти: через старую географическую пропасть между Восточной и Западной Европой, через социальную и этическую пропасть между Канадой и Соединенными Штатами (первая считается более миролюбивой, а вторая — воинственной), экономическую пропасть между Севером и

Югом, и прежде всего культурную пропасть между Востоком и Западом. Япония, часто представляющаяся западной страной в глазах азиатов и восточной — в глазах европейцев и американцев, похоже, рада своей функции соединяющего моста.

Однако восхождение на экономический Олимп Китая и Индии заставляет Японию чувствовать себя уже не мостом между культурами, а беспородной дворняжкой, которую все забыли, и ее уникальность, влияние и важность уменьшились. В течение десятилетий послевоенного восстановления Японии целое поколение японцев жертвовало своим экономическим положением ради величия и процветания своей страны, и японская нация охотно и старательно училась демократии и капитализму в западном стиле. Теперь же эти жертвы и годы ученичества кажутся бессмысленными, поскольку громадные соседи Японии набирают все больше и больше власти и влияния, не понеся сравнимых жертв. И вот Япония, «отличница» на протяжении десятилетий, сидит и смотрит, как «двоечникам» ставят лучшие оценки. И теперь, когда значение Китая как экономического партнера Японии постоянно растет, многим японцам перестает нравиться тот факт, что они так много работают, но не ради себя, не ради «прусского короля» (как жаловались французы XVIII века), а на «императора Китая», которому достаются лучшие куски.

По всем вышеназванным причинам в Японии сейчас господствует размытое чувство беспокойства по поводу будущего. Надежда, правившая в Японии в 1960-х и 1970-х гг., сдает свои позиции страху.

Вызовы надежды

Несмотря на различия в политической системе, Китай и Индия, две великие империи надежды, стоят тем не менее перед схожими проблемами. Обеим странам предстоит избавиться от оков нищеты сотни миллионов жителей, им предстоит предотвратить потенциальные экологические ка-

тастрофы, остановить распространение эпидемии СПИДа, сократить разрыв между обществом и политикой. Последняя проблема, которая остается весьма трудной даже для «зрелых» демократий Запада, является в особенности сложной задачей для стран с неустоявшейся демократией, как в Индии, и туповатой автократией, как в Китае. Культура надежды, вдохновляющая миллионы индусов и китайцев, существует по большей части не благодаря деятельности их политического руководства, а несмотря на нее.

После достижения зрелости на мировой арене и перед Китаем, и перед Индией встают громадные проблемы, связанные с их отношениями между собой и другими крупными державами в будущем. Для каждой из этих двух стран главным вопросом будет строительство их отношений с Соединенными Штатами — страной, которая, в конце концов, остается единственной глобальной сверхдержавой.

Индия уже предприняла меры, чтобы продемонстрировать свою независимость от прежних американских спонсоров, например разрабатывая планы строительства нефте- и газопровода в Иран и отвергая требования США о проведении двухсторонних переговоров, касающихся гражданской атомной промышленности Индии.

Сегодня Индия должна решить, какой державой она хочет стать. В момент своего рождения в 1947 г. Индия видела себя так, как сегодня рассматривает себя Европейский союз — как «нравственную сверхдержаву», а основанием для этого служило достижение независимости мирным путем под духовным руководством Ганди. Однако в XXI веке Индия не может полагаться на ностальгию по былому моральному статусу. Главной проблемой для нее в предстоящие годы будет способность выстроить собственную политику в отношении Соединенных Штатов и сделать это уравновешенно, обдуманно, не поддаваясь ни искушению индийского варианта политики де Голля (стремления к независимости любой ценой), ни соблазну уравновесить влияние Китая за счет Америки.

Дилемма, стоящая перед властями Китая, прямо противоположна индийской. Один влиятельный западный дипломат, которого процитировала «Financial Times», заметил: «Мысль о том, что китайское руководство, просыпаясь утром, размышляет о завоевании господства в мире, не выдерживает никакой критики. Если оно о чем-то и думает, так это о том, как справиться с сотнями проблем у себя дома»*. Сейчас это замечание справедливо. Но как долго китайцы будут стараться не раскачивать лодку? Чрезмерная самоуверенность и надменность (пусть даже маловероятные) или, наоборот, потеря уверенности в себе и потребность отвлечь внимание от внутренних проблем (что более вероятно) могут заставить Китай пойти на безответственный националистический шаг, например, агрессию против Тайваня.

Эволюция роли Китая и Индии на международной арене будет зависеть от способности обеих стран реформироваться. Сможет ли Китай остаться движущей силой роста для мировой экономики и стать крупнейшей торговой нацией мира без ускорения внутреннего преобразования своей политики? Останется ли Китай самым многообещающим новым рынком мира для многонациональных корпораций, если манера управления в Пекине останется столь же косной? Как будет Индия развивать массовое и эффективное производство, не обеспечив минимальный уровень образования миллионам сельских жителей, живущих сейчас практически в полной нищете? И как долго Индия сможет оставаться привлекательным поставщиком товаров и услуг западным компаниям, без резкого сокращения коррупции в частной и государственной сферах, достигшей недопустимого уровня?

Эти проблемы реальны. Они несколько не мешают называть Азию континентом надежды. Можно даже сказать, что Индия составляет обнадеживающий фундамент для глобальной надежды именно потому, что руководство этих

стран не считает своей целью спасти мир от сил зла (как считал когда-то Джордж Буш) или устанавливать этические, социальные и культурные нормы (как иногда считает Европа). Однако и Китай, и Индия в процессе роста должны будут признать тот факт, что власть подразумевает ответственность и что во взаимозависимом мире уважение к международным нормам и законам является частью этой ответственности. Нам еще предстоит увидеть, каково будет полное воздействие экономического кризиса 2008—2009 гг. на эти два гиганта Азии. Из-за того, что азиаты более привычны к страданиям, чем люди Запада, или из-за своего стремления добиться успеха, явно превышающего наше, они обладают способностью к возрождению, которую не следует недооценивать, и они уже продемонстрировали это в 1998—1999 гг., во время первого финансового кризиса.

Со второй половины XX века и до настоящего времени Азия из континента войн превратилась в континент надежды — пусть даже скромной надежды, как мы вынуждены признать, основанной не на великой мечте о мире и свободе во всем мире, а на простой мечте об устойчиво растущем материальном процветании. Для миллиардов голодающих в мире такой скромный образ успеха наверняка очень привлекателен, но будет ли его достаточно в долгосрочной перспективе? Это один из важнейших вопросов, на который придется найти ответ в XXI веке.

* Special Report on China. // *Financial Times*, 13 сентября 2008.

Глава третья

Культура унижения

На экзистенциальном уровне бен Ладен был маргинализован, выведен из игры, однако куколка мифа, который он построил вокруг себя, сделала его представителем всех угнетенных и униженных мусульман. Его жизнь и символы, которыми он себя окружил, олицетворяли глубокое чувство отчуждения, характеризующее современный мусульманский мир. В своем жалком изгнании он пропитался унижениями своих собратьев по вере, его лишения дали ему право говорить от их имени, а его мечь придает святость их страданиям.

Лоуренс Райт. Высокая башня

Если надежда — это уверенность, то унижение — это бессилие, чувство, порожденное прежде всего ощущением того, что вы больше неспособны совместно, как нация или как религиозная община, или лично, как индивидуум, управлять своей жизнью. Унижение достигает высшей точки, когда вы убеждены в том, что Другой вторгся в частную сферу вашей жизни, сделав вас полностью зависимым. В унижении заключено чувство отчуждения по отношению к настоящему и еще больше по отношению к будущему — будущему, совершенно противоположному идеализированному славному прошлому, будущему, в котором ваши политические, экономические, социальные и культурные условия продиктованы Другим.

В какой-то степени унижение существует во всех культурах и обществах. Как и холестерин, оно и полезно, и вредно. Некая степень унижения может стать побуждением к социальному росту за счет тяжелого труда: «Я докажу, на что я способен». «Я вам покажу, что вы были неправы, когда не принимали меня всерьез». «Я добьюсь успеха во славу моих не пользовавшихся уважением и лишенных прав предков».

Можно попытаться доказать, что первое экономическое чудо Азии в 1980-х гг. отчасти стало победоносной реакцией на чувство национального унижения. Такие страны, как Южная Корея и даже Тайвань, хотели доказать Японии, своему бывшему оккупанту, что и они тоже могут добиться успеха на глобальной экономической арене. Подобное же чувство вызова было одним из двигателей современного китайского возрождения. Так, унижение японцами остальной Азии стало мощным стимулом для развития всего региона. Да и сами японцы сейчас испытывают чувство относительного унижения со стороны Китая. Одна знакомая японка говорила мне о том, как хорошо японцам иметь соседями китайцев. «Без них мы бы обленились». (Разумеется, это замечание не устраняет обидного ощущения от того, что тебя отодвинули на второй план.)

Когда унижение преодолевают, обуздывают, оно воздействует и на нации, и на отдельных людей. Оно усиливает инстинкт соревновательности. Оно придает энергию и пробуждает желания. Однако для позитивного воздействия унижения необходимы некое предполагаемое или реальное окно возможностей, проблески надежды. Другими словами, чтобы унижение было «хорошим унижением», необходимо хотя бы минимум уверенности в себе и благоприятные обстоятельства в виде в разумных пределах перспективной политической и экономической ситуации и национального руководства, способного повести за собой упавших духом людей.

Унижение без надежды, наоборот, ведет к отчаянию и культивирует чувство мести, которое легко порождает желание разрушать. Если нельзя достигнуть уровня тех, кто, по вашим ощущениям, вас унижает, можно, по крайней мере, опустить их до своего уровня: «Я им покажу, что такое страдания». Сегодня такая культура «плохого унижения» по большей части присутствует в значительных регионах арабского мира, за исключением Объединенных Арабских Эмиратов, маленьких государств на берегу Персидского залива, являющихся, по крайней мере в настоящее время,

как раз тем исключением, которое доказывает (то есть подвергает испытанию) правило.

Для продолжения разговора —
некоторая необходимая информация

Строго говоря, ислам нельзя считать единым. Он расколот на множество течений и включает в себя самые различные религиозные, культурные, национальные и политические явления: шииты противостоят суннитам, арабы — неарабам, азиаты — жителям Ближнего Востока, африканцы — европейцам, умеренные мусульмане — радикалам, религиозные мусульмане — агностикам. В этой главе я постараюсь ясно показывать, о каких ответвлениях ислама идет речь в каждом конкретном случае.

Более того, арабского мира как такового тоже не существует. Он состоит из разных, весьма различных народов, объединенных общим чувством нестабильности. И хотя не существует арабского единства, арабской дипломатии, скоординированного выражения интересов арабов и их единства, и даже если Лига арабских стран — это раздираемая разногласиями организация (а это действительно так), тем не менее существует нечто вроде «арабского чувства», ощущения арабской идентичности, пусть даже размытого, которое отличает арабов от неарабов и, по существу, противопоставляет эти две группы друг другу. Не так давно, в послевоенный период, панарабские мечты националистов стали основой политической программы для руководства ряда стран в постколониальную эпоху, и тогда арабское чувство можно было рассматривать как крупную силу в международных делах. Сегодня национальные чувства арабов ослабли, уступая место идентичности мусульманина, в особенности в его противостоянии западному миру.

На чем же основана возрожденная мусульманская идентичность и в чем ее смысл? Ее корни уходят глубоко в мировую историю. Ислам как религиозное направление возник в начале VII века на окраине великих империй — Византии и

Персии Сасанидов, которые тогда господствовали в западном мире. Во имя новой веры армии, собранные из населения Аравии, основали новую империю, Халифат, который простирался от Центральной Азии до Испании. Во времена халифов Умайядов центр империи переместился из Аравии сначала в сирийский Дамаск, а потом, при Аббасидах, в иракский Багдад.

Одновременно с развитием этих политических процессов началось распространение арабского языка, который стал носителем культуры, не ограниченной рамками мусульманской веры. Арабский того периода стал аналогом латыни времен Римской империи или английского языка в современном мире, он стал общим языком для христиан, евреев и мусульман. В целом сегодняшние исследователи не могут наверняка определить религиозную принадлежность некоторых авторов научных и философских текстов того периода, которые жили, писали и думали по-арабски и при этом совсем необязательно были мусульманами. Вот откуда появилось название крупной исторической выставки, показанной несколько лет назад в Каире: «Когда наука говорила по-арабски».

Расцвет Оттоманской эпохи с XVI по XVIII век был последним великим достижением исламского мира, но он же стал началом упадка великой цивилизации, поскольку правящая семья империи говорила по-турецки. Запад наступал, а Оттоманская империя оборонялась. Политический, экономический и военный упадок исламского мира, начавшийся в XVIII веке, продолжается до сих пор.

Сегодня в демографическом смысле ислам как религия, может быть, и испытывает подъем, и очень скоро, возможно, количество мусульман в мире вырастет и они будут как никогда многочисленны на планете. В психологическом же и эмоциональном смысле в мусульманском мире господствует чувство политического и культурного унижения, которое обостряется потребностью в сохранении чувства достоинства.

Поощряемое многими поколениями руководителей арабских стран, которые казались остальному миру неспособными

к самоанализу и не желающими брать на себя историческую ответственность, значительное большинство населения в исламском мире стало искать «козлов отпущения» — Других, тех, кого можно обвинить в заговоре против ислама, против мусульманского мира, против арабского народа. Во всем стали винить Соединенные Штаты, Израиль, западный мир и в целом «христиан и евреев» — «крестоносцев и сионистов», на языке Аль-Каиды. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отрицает всякое право на существование государства Израиль, словно говоря: «Вы унижали нас так долго, а теперь погодите; скоро Израиль больше не будет, и его существование не сможет оскорблять нас». Такая порка внешних врагов весьма популярна среди мусульман. По недавнему опросу, проведенному центром Ибн Хальдуна в Каире, Ахмадинежад и Хасан Насралла, лидер движения Хезболла в Ливане, являются самыми популярными иностранными лидерами в преимущественно суннитском Египте*. Разумеется, некоторых арабов огорчает тот факт, что их права защищаются столь энергично лидерами неарабских, хотя и мусульманских стран, что гордость и честь араба узурпированы Тегераном, и некоторых умеренных арабов вполне даже шокирует вульгарный и дешевый популизм этих двух названных лидеров. Однако они предпочитают держать свои мысли при себе, убежденные в том, что дух времени, поток истории работает не на них.

Подъем радикальных течений в исламском мире является одновременно и причиной, и иллюстрацией явления, которое охватило все течения ислама, в особенности ультрафундаменталистов-ваххабитов среди суннитов и иранских шиитов. Этот подъем в разной степени охватил все исламские страны, однако в некоторых проявляется сильнее. Есть даже искушение сделать вывод о том, что чем ближе правящий режим какой-либо страны к Соединенным Штатам, тем сильнее такая страна охвачена подъемом исламского радикализма, и Египет с Саудовской Аравией — самые яркие

* См.: Amr Elbaz. Hassan Nasrallah Tops Poll. // Веб-страница Ahl-Alquran, просмотрена 13 октября 2008 по адресу http://www.ahl-alquran.com/English/show_article.php?main_id=356.

примеры этого явления. Однако тенденции к радикализации существуют даже в таких странах, как Ливан и Иордания, особенно Ливан, где Хезболла с помощью Ирана и Сирии образовала государство в государстве.

Одной из основных характеристик арабо-исламского мира стало присутствие радикализма как постоянной его составляющей. Другой стала его географическая экспансия из Алжира, Туниса и Марокко на берегах Средиземного моря в традиционную «кризисную дугу» Азии, в такие страны, как Афганистан и Пакистан. Географическая экспансия радикализма сопровождалась распространением культуры унижения. Теперь она стала обычной в большой и аморфной группе стран, включающей также Индонезию и Малайзию. Итак, откуда появляется культура унижения и каковы ее составляющие?

Корни унижения: исторический упадок

У господства унижения в арабо-исламском мире множество причин, однако самой главной и важной из них является ощущение исторического упадка.

Воображением исламистов движет страх распада — чувство, которому подвержены все империи, нации, цивилизации и культуры, но в разное время и с разной интенсивностью. Турки-османы, например, панически боялись распада своей империи, по крайней мере в последние три века ее существования, а на протяжении XIX века Османскую империю называли «европейским больным». (Европейцы же, наоборот, являются относительно новыми новичками в этом смысле, они начали размышлять о собственном упадке после Первой мировой войны, что нашло отражение, например, в трудах Шпенглера и Тойнби. «Мы, цивилизации, знаем теперь, что смертны», — писал французский поэт и философ Поль Валери в 1922 году*.)

* Paul Valéry. *Reflections sur le Monde Actuel*, 1922. (Впервые цитируемая статья Валери была опубликована в 1919 г. в журнале «Variété», III. — (Прим. ред.)

Исламское восприятие распада, которое восходит к концу XVII века, обрело новую глубину в прошлом веке. Если в XVII веке арабы были способны создать мир, увлекающий за собой другие народы, то в XIX и XX веках их самих влекло в новый мир, созданный в Западной Европе. Кажется, будто арабы сами приняли гегелевскую концепцию истории и решили, что принадлежат, по словам великого историка Альберта Хурани, «к минувшему периоду в развитии человеческого духа, когда они словно исполнили свою миссию по сохранению греческой мысли и передали факел цивилизации другим»*. В этом контексте поражение арабов в Шестидневной войне 1967 г. воспринималось не только как военная неудача, но и более глубоко, как нравственный приговор. Для египетского экономиста Гаяля Амина, которого цитирует Хурани, проблема состояла в том, что египтяне и другие арабские народы тогда «потеряли веру в себя»**. Проблема эта была скорее культурной и нравственной, чем политической и экономической, словно все слои исторического унижения, накопленные после военных поражений 1683 г. в Европе, образовали новую сущность, отягощенную слабостью, неэффективностью и неудачами.

Когда на христианском Западе Средневековье и связанный с ним упадок культуры были в самом разгаре, ислам переживал расцвет Возрождения, в особенности в таких местах, как Андалусия. В этой связи стоит отметить, что Кордова, Стамбул и Исфахан — три города, которые стали образцами и символами достижений исламской цивилизации в экспозиции недавно отстроенного исламского крыла музея Виктории и Альберта в Лондоне. Из трех этих городов только один был арабским (Кордова), притом что и Кордова, и Стамбул сегодня по существу принадлежат к Западу. И только Исфахан в Иране остается исламским городом. (Это объясняет, почему Иран так

* Albert Hourani. A History of the Arab Peoples. — London: Faber and Faber, 1991. — P. 249.

** Ibid., p. 442–443.

важен для арабов — одновременно и как вызов, и как образец, и как демонстрация относительного успеха стратегии теперешних правителей этой страны, несмотря на их «нецивилизованный», даже варварский подход к собственной культуре.)

В целом экспозиция исламского крыла музея Виктории и Альберта одновременно и обнадеживает, и тревожит современных мусульман. Интерпретировать ее можно двояко: «В прошлом вы были великими и, может быть, будете великими снова» или «По-настоящему великими вы были более четырех столетий назад». В египетском романе «Дом Якубяна» Алаа аль-Асуани*, по которому был снят фильм, чувствуется ностальгия по миру терпимости и утонченности в коррумпированной, ужасно бедной и все менее терпимой среде.

Трудно проследить истоки этого чувства упадка — сначала относительного, а потом абсолютного. Начало возрождения на христианском Западе совпадает с закатом ислама. Поворотной точкой стал 1683 год. После неудачной попытки захватить Вену османы поняли, что «история больше не с ними», как они считали после захвата Константинополя («нового Восточного Рима») в 1453 году.

Неспособность Османской империи сохранить конкурентоспособность с христианской Европой в отношении развития военной технологии, в особенности огнестрельного оружия, сыграла решающую роль в переходе власти от исламского мира к Западу.

К концу XVIII века Наполеон Бонапарт уже без особого труда захватил Египет, а уход французов стал не результатом исламского сопротивления, а последствием победы британского флота под командованием адмирала Нельсона. По словам американского востоковеда Бернарда Льюиса, «доминирующими силами исламского мира стали внешние силы. Его существование отныне формировалось

* См.: Alaa Al Aswany. The Yacoubian Building. — New York: Harper Perennial, 2006. Киноверсия Марвана Хамеда, 2006.

под влиянием Запада. Выбор у мусульманских стран появлялся теперь в результате соперничества западных держав»*.

В итоге османы оказались неспособными догнать Запад. В отличие от них, Япония династии Мейдзи конца XIX века посылала «миссии специалистов» в западный мир, которые сыграли ключевую роль в ее модернизации. В результате поднимающаяся Япония одержала победу над приходящей в упадок Россией в 1905 году. Османская империя послала миссии по образцу японских слишком поздно, когда она была уже слишком слабой и разложившейся и не могла вернуть себе прежнюю мощь. Современность пришла в Анатолию только с приходом к власти Кемаля Ататюрка, и даже его политика, поскольку она была географически ограниченной и охватывала только ядро прежней Османской Турции, не смогла полностью преодолеть ощущение унижения, связанное с падением Османской империи.

Чувство исторического упадка, лежащее в основе арабо-исламской культуры унижения, усиливается и углубляется совокупным воздействием череды факторов: подчинением западному империализму в XIX — начале XX века; разочарованиями, связанными с обретением независимости; созданием государства Израиль; неспособностью нефтяных богатств, по крайней мере в начальный период, играть роль экономического и дипломатического оружия; и, самое главное, неадекватным поведением собственного руководства. Последний источник разочарования еще более глубок, поскольку никакие внешние силы не навязывали руководство населению этих стран (хотя в последнее время внешние силы помогли сохранить статус-кво в таких странах, как Египет и Саудовская Аравия, и сумели свергнуть силой иракский режим, который ненавидело большинство жителей страны).

* The 2007 Irving Kristol Lecture by Bernard Lewis. // *American Enterprise Institute Annual Dinner*, 7 марта 2007.

Израиль как фактор унижения

Среди факторов унижения чувство безысходности на Ближнем Востоке, связанное с существованием Израиля, занимает весьма специфическое место из-за сочетания исторических, культурных, демографических и религиозных причин. Создание государства Израиль в 1948 г. имело символическое значение и потрясло арабский мир. Оно стало в его глазах доказательством собственного упадка, двуликости Запада и неспособности управлять своей историей, символом полного бессилия. Для некоторых на Западе чувство ужаса, вызванное в арабском мире основанием государства Израиль, может показаться непропорциональным; Израиль, в конце концов, занимает тоненькую полоску земли посредине обширного региона, в котором господствуют мусульмане. Однако значение здесь имел, разумеется, не размер страны, а ее положение «в эмоциональном центре» того, что арабы и мусульмане считали их собственной землей, включая Иерусалим с его Куполом Скалы, одним из самых священных мест ислама.

Смесь исторического романтизма и отказ от признания — вот единственный способ, найденный арабскими режимами, чтобы хоть как-то примириться с унижительным бессилием, символом которого стала их неспособность предотвратить появление Израиля или уничтожить его. Первой психологической реакцией на появление Израиля стало проведение аналогии между вновь созданным еврейским государством и королевствами крестоносцев в Средние века. По этой аналогии, так же как и христианские королевства, Израиль был хрупким и искусственным образованием, он не мог остаться надолго. В действительности аналогия была исторически неоправданной и неточной. Однако это не помешало арабским мифотворцам. Они убедили себя в том, что пески пустыни поглотят надменные башни Израиля так же, как когда-то христианские замки прошлого.

В 2001 году, еще до 11 сентября, но в самый разгар второй интифады, высокопоставленный француз спросил

некоего саудовского принца: «Почему вы не оказываете гораздо большей финансовой помощи палестинцам? Это помогло бы обеспечить мир между Израилем и Палестиной». Ответ саудовского принца был яснее ясного: «Это было бы тратой денег, потому что через двадцать лет Израиль не станет».

Разумеется, Саудовская Аравия основательно изменила свои взгляды после 11 сентября, как и большинство стран Персидского залива, под влиянием двух факторов — страха за само существование своих режимов в том случае, если хаос из Палестины распространится на страны Персидского залива, и растущей экономической самоуверенности, подпитанной ростом цен на энергоносители. В Эмиратах Персидского залива сегодня тоже чувствуется желание стать эпицентром исламского возрождения, что подразумевает присутствие евреев (пусть даже израильских) среди арабов. Однако эти изменения в настроениях носят сравнительно поверхностный характер по сравнению с прочно засевшим в сердцах миллионов мусульман желанием навсегда стереть Израиль с карт Ближнего Востока.

Страной, более всех униженной существованием Израйля, остается, пожалуй, Египет. Шестидневная война разбила вдребезги арабские националистические амбиции президента Насера. В 1956 г. при поддержке США и Советского Союза он успешно преодолел неоимпериалистические действия Великобритании и Франции. Однако в 1967 г., во время Шестидневной войны, страна с населением чуть больше 3 млн человек в одиночку разгромила египетскую армию одним ударом за счет превосходства в воздухе. Что хуже всего, страна эта была не просто воплощением гордости и превосходства Запада, но еще и духовного наследия рабов Египта. Как могла горстка бывших рабов так унижить наследников Рамзеса II?

Чтобы начать процесс мирных переговоров с Израилем, Анвару Садату пришлось сначала возродить гордость египтян. Пересечение Суэцкого канала в 1973 г. стало первым шагом в процессе, кульминацией которого была символическая поездка Садата в Иерусалим в 1977 году. Он, разумеется,

собственной жизнью заплатил за свои смелые шаги, слишком опережавшие чувства его собственного народа и всей арабской нации. Большинство египтян было готово к перемирию неопределенной продолжительности или чему-то вроде холодного мира с Израилем, но никак не к полному с ним примирению.

Попытка Садата ухватиться за надежду посреди всеобщего унижения провалилась, и его смерть означала конец подобных усилий. Во время правления Мубарака Египтом стала руководить косная геронтократия, главная цель которой — сохранение своей власти. Война с Израилем стала невозможной, так же как и подлинный мир. Недовольство египтян своими руководителями также было слишком велико. Разумеется, и у религиозных противников Мубарака — «Братьев-мусульман» — нашлись собственные религиозные и идеологические причины для ненависти к евреям и Израйлю.

Будет справедливо заметить, что израильяне сами способствовали росту чувства унижения в арабо-исламском мире. Продолжая расширение своих поселений, несмотря на обещания палестинцам и международному сообществу остановиться, израильяне продемонстрировали пренебрежение к чувствам палестинцев. Увеличение численности проверок и количества блокпостов на территориях, контролируемых Израилем, сыграло важнейшую роль в установлении политики систематического унижения, выходящей далеко за рамки требований безопасности в противодействии терроризму.

Ясно, что действия израильян вызваны ощущением угрозы безопасности своей страны. Однако в атмосфере высокомерия, охватившего страну после Шестидневной войны, ощущение успеха и облегчения, несомненно, смешивалось с чувством превосходства по отношению к поверженному врагу. В Израйле тех лет было в ходу высказывание: «У Израйля есть тайное оружие — арабы». Сегодня многие арабы готовы побиться об заклад, что и у них есть тайное оружие — это психологическая хрупкость Израйля. Обе стороны, разумеется, совершенно неправы в недооценке жиз-

нестойкости своего противника и переоценке собственной силы. В итоге бремя ответственности за провал мирного процесса должны поровну разделить палестинцы, израильтяне, лидеры арабского мира и международное сообщество в целом.

В окружении враждебно настроенных соседей Израилю приходится искать зловещее равновесие, в котором качество должно перевесить количество, богатство — отчаяние нищеты, а техническое превосходство — противодействовать страсти и жертвенности арабских масс. Такая игра на балансе сил привела к второй интифаде (2000—2002 гг.), войне с Ливаном (2006 г.), войне с организацией Хамас в секторе Газа (зимой 2008—2009 гг.). В 2006 г. отсутствие явной победы Израиля означало для него поражение; отсутствие явного поражения движения Хезболла стало его победой. Израиль был «уравновешен» соотношением потерь, когда за одного погибшего израильтянина гибли десять арабов. Операция в Газе, по крайней мере отчасти, должна была подтвердить потенциал сдерживания Израиля и вселить страх в его противников.

Пытаясь противостоять сверхточному оружию Израиля, униженные палестинцы стремились посеять страх среди израильтян использованием человеческих бомб, оружия поражения, которое можно привести в действие тогда и там, где оно вызовет максимальные потери. Это была совершенно нечеловеческая стратегия, которая только укрепила решимость и дух граждан Израиля. В то время большинство палестинцев сочло эти действия стратегическим провалом и инструментом негативной пропаганды, однако они также послужили яркой демонстрацией насилия, порождаемого культурой унижения.

Политические последствия унижения проявляются во множестве разнообразных форм, причем не только в арабо-исламском мире, но и в Азии. Мусульмане от Индии до Индонезии и от Малайзии до Филиппин через насилие выразили то чувство унижения, которое исходит от Запада, и в особенности от Америки и собственных коррумпированных правительств, союзников Соединенных Штатов.

Яркий пример — скандал, связанный с публикацией карикатур, изображавших пророка Мухаммеда в датской газете в 2005 году. Разумеется, свобода прессы не должна подразумевать право бессмысленно оскорблять глубинные чувства других. Нельзя играть со спичками рядом с газовым резервуаром; нельзя намеренно нападать на самые святые верования Другого только потому, что это «хорошая провокация». В равной степени очевидно, что способность этих карикатур разжечь гнев в исламском мире была связана с подспудным чувством унижения, которое подготовило мусульман к подобной яростной защитной реакции, направленной против любого действия, которое они воспринимают как оскорбление своей осажденной врагами веры.

Самое интересное, что вспышки насилия имели место не среди мусульман Дании, а в далеких столицах разгневанного мусульманского мира, от Карачи до Триполи. И это естественно, ведь именно там культура унижения проявляется в полной мере.

Дипломатия унижения

Чувство унижения иногда может стать мощным дипломатическим оружием, что демонстрируется рядом эпизодов недавней истории Ближнего Востока. Один из вариантов использования такого оружия заключается в том, чтобы сыграть на чувстве вины других народов, принимавших, возможно, участие в унижении вашего народа, и в использовании этого чувства, чтобы добиться уступок или поддержки.

Эксплуатация чувства вины бывших колониальных держав — это классический инструмент дипломатии, которым овладели мусульманские страны, но с течением времени эта стратегия, похоже, сходит на нет. Государство Израиль также не стеснялось пользоваться чувством вины европейского континента за преступный антисемитизм, и прежде всего за холокост. Европа, зажата между двумя противо-

речивыми чувствами вины, с трудом вырабатывает общую приемлемую позицию в отношении Ближневосточного региона. Германия склоняется к поддержке Израиля, в то время как Великобритания, которая не испытывает вины за холокост, и Франция, которая воспринимается как страна антифашистского Сопротивления, возглавляемого де Голлем, хотя ею во время Второй мировой войны и правил марионеточный режим Виши, временами склонны поддерживать бывших подданных своих империй и одновременно (по словам одного американского дипломата) «тянуться за нефтью», и в их реакции тем самым сочетаются чувство вины и корысть.

В нескончаемых переговорах с Западом по ядерным вопросам представители Ирана всегда начинали дискуссию с упоминания судьбы своего бывшего премьер-министра Моссадыка, свергнутого устроенным США военным переворотом в 1953 году. Произносимое как заклинание его имя использовалось, как оружие эмоционального сдерживания: «Вы унизили нас более 50 лет назад, но теперь вам не удастся это повторить. Теперь мы крупный игрок и мы имеем не меньше прав на ядерный статус, чем любая другая страна региона. Мы больше подходим под определение цивилизации, чем Пакистан, а в демографическом плане никак не относимся к той же категории, что и крохотный Израиль». Стратегия эта не всегда срабатывает, однако временами она ослабляет решимость Запада, а в дипломатии даже небольшие преимущества могут иметь значение.

Даже Турция по-своему пользуется эмоциональным козырем, когда внешний мир упрекает ее за ее же собственное прошлое. Сделав попытку признать уничтожение армян турками (в 1915–1919 гг.) актом геноцида, американский конгресс в 2007 г. только ухудшил и без того плохие после начала войны в Ираке американо-турецкие отношения. Хотя турки и поглядывают свысока на арабов и видят в Иране стратегическую угрозу, чувство общего унижения мусульман тем не менее заставляет их реагировать эмоционально, когда их ставят лицом к лицу с их собственным прошлым, особенно если это делает Запад. «Вам нечему нас

учить; посмотрите, что вы сами сотворили с американскими индейцами и с вашими собственными евреями», — таково молчаливое, кажется, послание Анкары.

С другой же стороны, унижение иногда скрывают по ряду политических, дипломатических и даже религиозных причин.

В 1979 г. элитные французские командос оказали решающую помощь в освобождении святынь Мекки от группы исламских фундаменталистов, но саудовское правительство из всех сил старалось сохранить в тайне участие французов. Оно боялось обнародовать то, что «неверные» были допущены в знаковые святилища ислама, а кроме того, правящему режиму не хотелось признавать собственную неспособность справиться с явлением, которое позже назвали днем рождения Аль-Каиды. То, что арабийским принцам нужен был Запад, чтобы защитить свои святыни, обеспечить личную безопасность и стабильность режима, породило у руководства страны чувство глубокого личного и национального стыда. Даже сегодня покупка оружия на Западе иногда служит прикрытием для защиты конкретных персон: «Мы будем покупать ваши системы вооружения, но при условии, что, если понадобится, вы будете защищать целостность наших режимов при помощи ваших элитных войск». Что это за независимость? Разве полагаться на поддержку Запада менее унижительно, чем опираться на Османскую империю задолго до обретения независимости? Османы, по крайней мере, были добрыми мусульманами.

Унижение может также скрываться за фасадом интеллектуального высокомерия, приводящего в итоге к утверждению: «Будущее принадлежит нам так же, как принадлежало нам прошлое!» Для сирийского философа, цитируемого Бернардом Льюисом, у Европы остается только два варианта будущего: «Будет ли это исламизированная Европа или европеизированный ислам?!»*. Подобная бравада едва ли

* Bernard Lewis. Islam and the West. — New York: Oxford University Press, 1994. — P. 28.

способна утешить миллионы мусульман, остро переживающих сегодняшнее унижение, конца которому в ближайшем будущем не видно.

Унижение, глобализация и отрицание

Бессилие, вызванное процессом глобализации, накладывается на множество других слоев унижения. В нашем прозрачном и открытом мире мир ислама болезненно осознает растущий контраст между успешностью Запада и Востока в пространстве глобализации и своей неспособностью ею воспользоваться. Отчет ООН о развитии арабских народов, опубликованный в 2002 г., стал сигналом, который лидерам арабского мира трудно было игнорировать*. В нем содержалась пугающая статистика различного характера, начиная с крайне низкого уровня инвестиций в образование и науку (за исключением стран Персидского залива) и кончая отсутствием экономической конкурентоспособности, демократического прогресса и растущим неравенством. Все эти данные усилили ощущение того, что «арабский мир остается позади». Крупный эксперт по Ближнему Востоку Оливье Руа ясно показал в своей книге «Глобализированный ислам: в поисках новой уммы»**, что сопротивление мусульман введению западного образа жизни вполне естественная реакция на распространение ислама за пределы его традиционного региона, а также результат ощущения бессилия, порожденного постоянными провалами: «Я не могу и не смогу преуспеть в мире, которым владеют и управляют они, поэтому создам свой собственный мир, где успех определяется так, как я считаю нужным».

* См.: United Nations, Arab Human Development Report: Creating Opportunities for Future Generations. — New York: United Nations Publications, 2002.

** Olivier Roy. Globalized Islam: The Search for a New Ummah. — New York: Columbia University Press, 2006.

Невольно возникает вопрос: откуда берется такое ощущение провала и бессилия? Разве социально-экономические проблемы внутренне присущи исламу как религии? Можно ли, к примеру, обнаружить их в Коране, где почти не разделяются сферы духовной и светской жизни? Может быть, ислам несовместим с современностью, капитализмом и демократией? Или же демократические выборы при отсутствии демократической культуры и сильного среднего класса неизбежно выведут наверх в арабском мире недемократические силы, как это случилось с победой Хамаса в Палестине и поражением умеренных мусульманских сил в Иране?

Факты недавней истории дают мало оснований надеяться на появление современного демократического ислама. Даже в более современной и развитой Турции прогресс демократии совпал с подъемом исламских партий. Многим на Западе понравилось заявление Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера турецкой Партии справедливости и развития, что она является или станет мусульманским эквивалентом Христианско-демократического союза в Германии. Однако немецкие христианские демократы — прежде всего демократы, а затем уже христиане. Судя же по относительной нетерпимости, проявленной последователями Эрдогана к другим политическим силам, они прежде всего мусульмане, а затем уже демократы (если их вообще можно назвать демократами).

Совершенно очевидно, что отношения между исламом и политикой в некоторых фундаментальных аспектах отличаются от отношений между христианством и политикой. Но это вовсе не означает, что демократия как система чужда исламу. Все большее количество мусульманских интеллектуалов в таких разных странах, как Египет, Иордания, Турция, Иран, Малайзия, Индонезия, начинают изучать (по словам исследователя ислама Джеймса Пискатори), «как плюрализм, терпимость и участие в гражданской жизни — ценности, которые они считают исконно мусульманскими, могут найти применение» в политической культуре их стран*.

* The Turmoil Within Islam. // *Foreign Affairs* (май — июнь 2002).

Эти интеллектуалы не соглашаются с восприятием ислама, представленным в спорных трудах голландской феминистки Аяан Али Хирси родом из Сомали. С точки зрения Али, высказанной в остром эссе «Девственница в клетке», существующие проблемы присущи самому исламу. По ее словам, «отношение мусульманина к Всевышнему — это отношение страха». Второй составляющей этой проблемы, по ее мнению, является то, что ислам признает только один нравственный авторитет — непогрешимого пророка Мухаммеда. И третья составляющая состоит в том, что «в исламе до сих пор господствует сексуальная нравственность, основанная на ценностях арабских племен того времени, когда Аллах продиктовал пророку Мухаммеду Коран»*. (По этой же причине присутствие женщин-солдат в американской армии на исламской земле неизбежно воспринимается как особенно вызывающая форма оскорбления.) С точки зрения Али, «эти составляющие в основном объясняют, почему мусульманские народы отставали от Запада, а теперь отстают и от Азии».

Несомненно, что невключенность женщин в функционирование общества на равных с мужчинами составляет глубокое, хотя и не признанное самим обществом препятствие для большинства исламских стран, стремящихся конкурировать на глобальной арене.

Мне вспоминается лекция, прочитанная мной в Берлине всего за несколько дней до 11 сентября 2001 г. группе представителей инвестиционных банков из Арабских Эмиратов, среди которых присутствовали в том числе и занимающие высокие посты женщины, каждая из которых была одета в безупречный английский костюм и носила красивую прозрачную вуаль. Этих женщин оскорбили мои замечания об отношении ислама к женщинам, и они постарались убедить меня, что их статус как женщин в соответствующих финансовых заведениях нельзя даже сравнивать с положением западных женщин. Они отрицали

* Ayaan Hirsi Ali. *The Caged Virgin*. — New York: Free Press, 2006.

всякую реальность какого бы то ни было унижения. Но если в такой стране, как Саудовская Аравия, женщина не может водить машину, как может она играть значительную независимую роль в обществе?

Аналогичным образом, когда президента Ирана Ахмадинежада пригласили в Колумбийский университет в Вашингтоне во время его приезда на Генеральную ассамблею ООН в сентябре 2007 г., он настаивал, вопреки очевидному, что положение женщин в Иране — «лучшее в мире». (Он также объявил, что в Иране нет гомосексуалистов, хотя возникает вопрос, зачем надо было устанавливать повешение как наказание за преступление, которого просто не существует в стране.)

Нет ничего удивительного в том, что культура, страдающая от унижения, не способна вынести боль признания этого факта, а один из способов преодоления внутреннего неудобства — это отрицание, пусть даже при этом отрицаются самые очевидные вещи.

Ислам и христианство

Отношения между исламом и христианством стали важным компонентом в формировании культуры унижения. И та, и другая вера монотеистические, обе считают себя мировыми и исключительными и обе стремятся обратить в свою веру других. Развитие Запада — будь то в форме христианства/капитализма или, позже, — марксизма/атеизма — могло восприниматься в исламских землях только как воплощение проклятия. Распространение западной культуры и веры в странах, где когда-то властвовал ислам, означало, что мусульмане снова не могли быть хозяевами своей веры и истории.

Религиозная конкуренция между исламом и христианством недавно приняла новые очертания. В то время как сегодня ислам распространяется как кипящее энергией вероучение, христианство в значительной степени, особенно в Европе, отстывает. Если даже не принимать всерьез

описание Европы американским историком и политологом Уолтером Лакером как «континента, где церкви пусты, а мечети полны», приходится признать, что по всему континенту христианские практики отстают. Приток новых священников сокращается до тревожного уровня; сегодня в Азии иезуитов, например, больше, чем в Европе. А вот количество исповедующих ислам по всему миру, включая Северную Америку и Европу, устойчиво растет. И все же, поскольку подъем ислама не сопровождается заметным экономическим, социальным или политическим прогрессом, рост популярности ислама как религии не может ослабить чувство унижения у мусульман. Слишком часто роль ислама в жизни мусульман сводится к набору правил, ограничений и обрядов, то есть он просто упорядочивает их повседневную жизнь. В медресе Пакистана молодежь заучивает Коран на арабском языке, которого студенты не понимают. В таких условиях религия не может оказывать сколь-нибудь позитивного влияния на решение проблем современной жизни.

Между культурой, в которой роль религии усиливается благодаря всеобщей озабоченности упадком, и культурой роста равнодушия к религии, которая до сих пор считает себя всеобщей и главной, вряд ли могут быть легкие отношения. «Мы» на Западе становимся все более светскими, а «они» в исламском мире становятся все более религиозными. В результате «мы» можем видеть в «них» анахронизм, вызванный из «нашего» прошлого, откуда-то из XVI или XVII века, когда в Европе бушевали религиозные войны. «Они» же, наоборот, видят, что наша продолжающаяся модернизация, которую они воспринимают как нравственное разложение, лишает их возможности быть хозяевами своей жизни. «Наше» пренебрежение к особенностям взаимоотношения полов, которые все больше отдаляются от их ценностей, означает, что мы презираем или игнорируем их чувства.

Конечно, многие прогрессивные мусульмане и на Западе, и в остальном мире стараются разрушить дихотомию «мы» — «они». Все большее количество образованных

мусульманок второго поколения в Европе, Америке и в исламских странах ведут борьбу за права женщин в исламской среде. Это может со временем привести к самой мощной революции. И, разумеется, в мире глобальных сетей ни одна из культур не имеет иммунитета от влияния извне. В недавно изданной книге «Тяжелый рок ислама: рок, сопротивление и борьба за душу ислама» ее автор Марк Левайн рассматривает андеграундные музыкальные движения, испытывающие влияние Запада, которые процветают во многих авторитарных режимах по всему Ближнему Востоку и в Северной Африке*. Однако, хотя Левайн и стремится разрушить представление о непримиримости различий между исламом и западным образом жизни, правоверные мусульмане могут извлечь из этой книги противоположный урок: «Посмотрите только, как Запад разлагает нашу молодежь своей декадентской музыкой! Нужно воздвигнуть более сильную защиту от такого зла».

Вопрос многоженства превосходно иллюстрирует разрыв в представлениях между традиционным исламом и Западом. Для западного ума многоженство — это издевательство над современностью и правами женщин. Однако для набожного мусульманина это совершенное воплощение законов ислама. Наше осуждение напоминает мусульманам о суровой реальности: сегодня они живут по «нашим» национальным и международным законам. И так оно и должно было бы быть, поскольку мусульмане являются членами меньшинства в западных странах. Существует тонкая граница между необходимостью уважать ценности других и угрозой крайнего культурного релятивизма, который отбрасывает все правила и нормы во имя всеобщего благорасположения.

Вопрос о терпимости — это еще одно болезненное место в споре между мусульманами и христианами. Некоторые мусульмане заявляют, что ислам самое терпимое из великих монотеистических верований. Они напоминают о фактах

* См.: Mark LeVine. Heavy Metal Islam: Rock, Resistance and the Struggle for the Soul of Islam. — New York: Three Rivers Press, 2008.

истории, когда отношение к еврейскому и христианскому меньшинствам в исламских землях было доброжелательным. В этом есть доля правды: Вольтер в XVIII веке, осуждая христианскую нетерпимость, заметил, что в исламских странах можно найти христианские церкви, в то время как в христианских странах мечетей нет. Однако терпимость мусульман к другим верованиям менялась в разные периоды: она усиливалась, когда уверенность в себе преобладала над сомнениями. Сегодня ближе к истине обратное наблюдение Вольтера. На христианском Западе есть мечети, даже в Риме, но в Саудовской Аравии церквей нет. Наши сегодняшние попытки «конструктивного вовлечения» ислама под знамена многокультурности не обязательно удовлетворяют или умиротворяют сторонников жесткой линии в исламском мире, который воспринимает их как признаки лжи или слабости. Что же касается обычных мусульман, они хотят, чтобы их уважали, тогда как мы готовы лишь терпеть их.

Упадок арабской культуры

По большей части действие политических и социальных источников унижения усиливается на культурном уровне в силу упадка арабского языка и культуры. Хотя ислам как религия и расширяет сферу своего влияния, арабскую культуру нельзя назвать процветающей. За немногими известными исключениями вроде египетского романиста и лауреата Нобелевской премии Нагиба Махфуза и его соотечественника, драматурга Катеба Ясина, арабская литература, музыка и фильмы практически не пользуются спросом за пределами их родных стран. Хотя приток переводной западной литературы в арабский мир за последние годы усилился, он по-прежнему слаб, что отражает относительную изолированность арабского мира от глобальной культуры. Внутри же самого исламского мира современная культура почти не приветствуется, скорее даже наоборот. Опасно быть интеллектуалом или художником в среде, где

тираны и фундаменталисты объединенными усилиями стремятся наложить ограничения на свободное творческое самовыражение. Так кабийский алжирский певец Луне Матуб был убит в 1998 г. за «преступление» в виде защиты свободы берберов, а также за «святотатственные» тексты своих песен.

Разумеется, между мусульманскими странами есть огромные различия. Трудно представить более выразительный признак, чем контраст между книжными магазинами в Каире и Стамбуле. Первые словно иллюстрируют ограниченность увядающего геронтократического государства, в то время как вторые кипят жизнью. Турок, лауреат Нобелевской премии Орхан Памук может восприниматься в своей стране как диссидент, но он отнюдь не неудачник. Во многом Памук символизирует тот факт, что упадок как таковой касается скорее арабского мира, чем мира ислама.

В прошлом Египет считал себя гордым наследником великой доисламской культуры. Материальная преемственность между современным и древним Египтом гораздо более реальна, чем преемственность между современной Грецией и классической Грецией. Я живо помню, как был поражен более двадцати лет назад, когда увидел в египетском Музее античности физического предка министра иностранных дел Египта Нагиба. Знаменитая скульптура писца очень на него походила. Египет тогда еще мог воспринимать себя чем-то напоподобие Срединной империи, неотъемлемой частью региона, этакое Китая Ближнего Востока.

Теперь все изменилось. Скованный режимом, достигшим слишком малого и держащимся слишком долго, Египет потерял чувство уверенности в себе, подаренное ему памятью об эпохе фараонов. В каком-то смысле он подводит итог и является зримым воплощением того, что пошло не так в арабском мире.

Я до сих пор помню плакаты на стенах Каира в 1986 г., накануне президентских выборов, которые снова подтвердили президентские полномочия Хосни Мубарака. Портреты Насера чередовались с портретами Садата и огромными зелеными плакатами в духе Ротко, представлявшими новую

волну египетских политиков, «Братьев-мусульман». Их послание было ясным: «Египтяне, вы испытали арабский национализм при Насере и египетский национализм при Садате. Оба потерпели крах. Почему бы вам не проголосовать за партию Бога, за «Братьев-мусульман?». Сегодня для правящего режима «Братья-мусульмане» нечто вроде пугала для домашнего и внешнего потребления, которое должно убедить в необходимости соблюдения политического статус-кво: «Вы считаете, что мы плохи? Альтернатива будет еще хуже!».

Бог как ответ на провал, Бог как окончательное решение — путь, выбранный столь многими в мусульманском мире, путь в итоге бессмысленный, поскольку он не предлагает осмысленного способа решения проблем современности, с которыми каждая нация Земли должна каким-то образом справиться.

Унижение и терроризм

На Западе многие недоумевали, почему исламские взгляды, в том числе крайнего толка, защищающие насилие, нашли благоприятную почву не только среди бедных и обездоленных слоев населения арабских и мусульманских стран, но и среди тех, кто обладает относительно высоким социальным, экономическим и образовательным статусом. Подобно революционерам Европы XIX века, террористы XXI века не принадлежат к беднейшим классам. В действительности их уровень достатка и образования обычно средний, если не выше. Причина проста: культура унижения охватила все уровни исламского общества, от самых бедных до самых богатых, подверженных западному влиянию.

Вспомним, например, жизнь и карьеру видного интеллектуала Эдварда Саида, автора знаменитого эссе 1978 г. «Ориентализм»*. Книга эта, по крайней мере отчасти, была порождена чувством унижения и отчуждения, кото-

* См.: Edward Said. *Orientalism*. — New York: Vintage Books, 1978.

рое испытывал даже этот прекрасно ассимилировавшийся в современном обществе араб-христианин. Если даже самый утонченный из литературных критиков и прекрасный пианист-любитель с такой страстью осуждает «высокомерие», с которым Запад глядит на «Восток», неудивительно, что подобные чувства могут разделять все слои общества. Кто сможет безоговорочно осудить Эдварда Саида? Очевидно, в том, что он ощущал и о чем писал, есть доля истины.

Та же культура унижения лежит в основе привлекательности насилия и терроризма для многих мусульман. Без культуры унижения как смогли бы фундаменталисты заставить молодого образованного мусульманина-британца убить таких же британцев, совершив самоубийственный террористический акт в лондонском метро? Как могли молодые немцы, обращенные в ислам, планировать смертоносные террористические акты в собственной стране? Такие инстинкты саморазрушения пробуждаются при определенном сочетании психологических, культурных и социально-экономических условий, ведущих от унижения к насилию.

В недавно опубликованном отчете, озаглавленном «Радикализация западного мира: внутренняя угроза», департамент полиции Нью-Йорка описывает процесс, в результате которого независимый джихад, не управляемый, не контролируемый и не финансируемый Аль-Каидой, хотя, разумеется, и вдохновленный этой организацией, появился на Западе*. Этот отчет подводит к выводу, что поиск собственной идентичности и неудача в социальной и экономической интеграции играют более важную роль в качестве движущей силы радикализации, чем угнетение, отчаяние или дух мести. Подобные негативные эмоции делают теории заговора крайне привлекательными и порождают желание обратиться к насилию как средству спасения.

* См.: New York Police Department (NYPD). *Radicalization in the Western World: The Domestic Threat*, 2008. Отрывки приводятся в *Le Monde*, от 26 июня 2008 г.

Ощущение, будто исламский мир подвергается атаке в геополитическом смысле, сыграло решающую роль в подъеме современного мусульманского фундаментализма и поддерживаемого им терроризма. Вспомним, например, советское вторжение в Афганистан. Оно стало символической эмоциональной поворотной точкой после пика унижения арабов в Шестидневной войне 1967 года. Исламисты объединились, чтобы поддержать афганских мятежников против Советского Союза (при тайной помощи другой сверхдержавы, Соединенных Штатов). Неожиданный успех мятежников послужил доказательством того, что сверхдержава, пусть даже разлагающаяся, может потерпеть поражение в результате подъема национальных исламских сил.

Разумеется, поражение Советского Союза в Афганистане не смогло ослабить чувство унижения среди мусульман, поскольку подлинные «угнетатели» в их глазах были на Западе. Это поражение подстегнуло жажду мести фундаменталистов, что в результате привело к теракту 11 сентября и продолжает оказывать влияние на события в мире.

Углубление конфликта между Израилем и Палестиной тоже сыграло роль в усилении терроризма. С одной стороны, конфликт сдерживал осуждение терроризма со стороны арабов и мусульман. Правда, среди жертв терактов были невинные люди, но такая же реальность страдания палестинцев и несправедливость в отношении них. С другой стороны, террористы, хотя и негодными средствами, отвечают на легитимные претензии арабов и мусульман. Сегодня такое восприятие постепенно меняется, поскольку основными жертвами исламского терроризма стали сами мусульмане, в частности в Ираке, но вера в теорию заговора сохраняется.

Например, я лично стал свидетелем распространения этой теории, подпитываемой культурой унижения, когда через несколько месяцев после 11 сентября парижские таксисты североафриканского происхождения, с которыми я разговаривал, утверждали, что за теракт в Нью-Йорке несут ответственность агенты Моссада. Я спрашивал себя, поче-

му? Неужели они думают, что арабы были неспособны обойтись без посторонней помощи? Версия таксистов, конечно, абсурдна, но они в нее верили, и она, возможно, помогала разрешить им внутренний конфликт между гордостью и чувством вины за действия Аль-Каиды. (Писатель Мохсин Хамид пакистанского происхождения выразил двойственность этих эмоций в романе «Вынужденный фундаменталист»*.)

Мусульмане на Западе

Для большинства арабов и мусульман, проживающих в западных странах, чувства унижения и отчаяния имеют в равной степени и культурную, и социально-экономическую природу. Отчаяние вызывается глубоким чувством отчужденности от большей части современного мира, а бессилие становится еще более болезненным из-за шрамов не столь отдаленного колониального прошлого. Там, где колониальная история оставила глубокий след, чувство отчужденности проявляется особенно явно. Если в 2001 г., например, французские граждане алжирского происхождения освистали национальную сборную команду по футболу (то есть сборную Франции), то в 2008-м немцы турецкого происхождения приветствовали и немецкую, и турецкую сборные. Причина проста: в отношениях между Германией и Турцией нет колониального прошлого, в то время как Алжир и Франция имеют сложную общую историю, которую ни одна из этих двух стран не может так просто забыть.

Однако даже при отсутствии колониального прошлого мусульмане на Западе зачастую оказываются отрезанными от своих общин, особенно во время конфликтов. После войны в Персидском заливе 1991 г. арабы чувствовали себя

* См.: Mohsin Hamid. *The Reluctant Fundamentalist*. — New York: Penguin Books, 2007.

исключенными из западного мира (как если бы для Запада все арабы от Ирака до Алжира были одинаковы). После 11 сентября 2001 г. мусульмане почувствовали себя исключенными из всего мира (как будто все мусульмане потенциальные террористы). А после взрыва насилия во французских городах в 2005 г. французские мусульмане испытали отчуждение от страны проживания как жители пригородов (как будто все мусульмане обитают лишь в бедных и опасных трущобах в пригородах).

Вне всякого сомнения, европейские мусульмане страдают от политической, социальной, сексуальной и городской сегрегации. В политике к ним относятся с подозрением из-за их культуры и веры, в социальном плане — из-за их имен и мест проживания. Им трудно найти работу (в их среде уровень безработицы в три раза выше, чем среди неэмигрантов). У них проблемы с законом (представляя всего 15% городского населения Франции, они составляют до 70–80% тех, кто попадает в заключение). Они с трудом находят партнеров для романтических отношений; кто влюбится в молодого человека без будущего, да еще из культурной среды, где притесняют женщин? Да и живут они обычно в полугородских гетто — одновременно и близко, и далеко от огней динамизма и великолепия городской жизни, болезненно контрастирующей с их повседневным бытом. Во время беспорядков в ноябре 2005 г. французские мусульмане жгли школы (республиканские символы социальной мобильности, которых их лишали) и машины (капиталистические символы физической мобильности, которыми они не могли пользоваться). Впоследствии опросы показали, что уровень негативного отношения к мигрантам значительно вырос, за год увеличившись с 38 до 56% опрошенных.

Как-то один знакомый пригласил меня на церемонию натурализации: он получил право стать гражданином Франции. Хотя день был холодный и дождливый, будущим гражданам пришлось ждать снаружи, у пристройки парижской префектуры, в которой должна была состояться церемония, и дежурный полицейский резко и вызывающе при-

казал собравшимся не нарушать очередь. Чтобы пройти через узкую дверь, нужно было проявить стойкость и самообладание; атмосфера на церемонии была бестолковая, если не враждебная; и в конце концов друзьям моего знакомого и членам его семьи не разрешили войти внутрь. В жестах охранников сквозило открытое подозрение, они словно говорили: «Ты вот-вот будешь французом, но заслуживаешь ли ты этой чести?». Где тут были ценности республики, особенно то самое «братство», которым мы так гордимся? Мне оставалось только сравнить эту процедуру с торжественной полурелигиозной церемонией натурализации в Соединенных Штатах. Мне стало стыдно за свою страну.

Для мусульман Европы унижение прежде всего порождается проблемами поиска собственной идентичности. Трудность интеграции во французское общество в сочетании с оторванностью от своих родных стран (Алжира, Марокко, Туниса), часто делает их сиротами, лицами без национальной идентичности. В упомянутых трех странах Северной Африки Франция выполняла «цивилизационную миссию», прежде всего в Алжире, который по закону считался полноценной частью Франции: там детей учили, что их предками были галлы, и тем самым лишали знания их собственной истории. С ними обращались как с туземцами, а не как с «настоящими» французскими гражданами, они годились только для военной службы, а не для полного гражданства. Они могли умирать, как французы, но не жить, как они.

С течением времени положение стало исправляться. Но очень редко кому удавалось добиться заметного успеха в европейском обществе. До сих пор во Франции, Германии и в Британии нет лидеров в культурной, социальной или политической сферах, которые происходили бы из мусульманских общин бывших колоний этих стран.

В таких условиях ислам становится основным признаком идентичности молодого человека: «Если я еще не француз и уже не алжирец, то кто я, если ни мусульманин?».

В Великобритании граждане пакистанского происхождения испытывают такие же муки, связанные с поиском

идентичности, тем более, что в самом Пакистане чувство национальной идентичности остается в лучшем случае неясным. Каково значение понятия «исламская нация»? Что такое ислам в этом случае — культура, национальная принадлежность или религия? Что делает Пакистан более «исламским», чем другие страны? В соседней Индии живет гораздо больше мусульман, чем в Пакистане. А если Пакистан — искусственное образование, случайный нарост на теле истории, которому так и не удалось превратиться в нацию? Если это так, как это влияет на ощущение самого себя и своей связи с народом, которое необходимо человеку, чтобы чувствовать себя уверенно?

В то же время другие, не столь возвышенные факторы также играют важную роль в вызревании чувства унижения. В книге «Мой брат бомбист» — интереснейшем исследовании одного из участников террористических актов 7 июля 2005 года в Лондоне — показано, что насилие уходит корнями преимущественно во вражду внутри семьи и напряженность между британцами пакистанского происхождения разных поколений*. По мнению автора, молодое поколение считает исламизм — в данном случае фундаментализм ваххабитского толка — теологией освобождения. Будучи в плену непреодолимых религиозных, сексуальных и семейных противоречий, молодые люди становятся легкой добычей для религиозных экстремистов, которые в разрушении и смерти, в том числе и их собственной, находят смысл их одинокой и полной отчуждения жизни.

Еще раз: чувство арабо-исламского унижения подпитывается жизнью в нищете и изоляции от современного мира, а также ощущением исторического упадка. Чем больше вы верите, что вы и ваша цивилизация когда-то были центром мира, тем сильнее становится чувство унижения, которое вы испытываете от сегодняшнего своего состояния. Таким образом, славное прошлое не внушает

* См.: Shiv Malik. My Brother the Bomber. // *Prospect*, June 2007, p. 30–41.

успокоения, а скорее порождает ощущение безысходности, по крайней мере у арабов и мусульман, которые помнят о золотом веке исламской цивилизации и постоянно думают о нем. Вместе с тем очень немногие молодые мусульмане из французских пригородов жгли несколько лет назад машины из-за ностальгии по былой славе арабов. Да и сегодняшние политические проблемы, наподобие конфликта между Израилем и Палестиной, их тоже вряд ли волновали. Для типичного молодого мусульманина конфликт на Ближнем Востоке — нечто далекое и совершенно непонятное (чью сторону им принять, Хамаса или ФАТХа?)

Тем не менее геополитические иллюзии о древней славе, а возможно, и ее будущем возрождении, безусловно, формируют часть сегодняшней культуры унижения. Экстремистски настроенные фундаменталисты мечтают восстановить величие халифата, провести исламскую Реконкисту, восстановить господство мусульман над обширной империей от Гибралтарского пролива до берегов Инда, когда-то управлявшейся исламом. И хотя лишь немногие из их собратьев-мусульман всерьез воспринимают эти идеи, их заявления играют на руку кассандрам современного западного мира, в особенности тем, кто предсказывает, что Европе суждено стать исламизированной «Евразией». Таким образом, экстремисты разжигают страхи, напряженность и подозрения по обе стороны конфликта, и их влияние явно превышает численность самих экстремистов.

Что же делать?

Исламская культура унижения, к формированию которой Запад приложил руку, создает различные дилеммы для лидеров Запада.

Одна из них отражена в подходе к теории столкновения цивилизаций Самюэля Хантингтона. Есть ли нечто такое, внутренне присущее исламской и христианской культурам,

что делает конфликт между ними неизбежным? Если сосредоточиться на эмоциональном аспекте этого вопроса, как сделано в этом исследовании, становится очевидным, что определенные различия провести необходимо.

Прежде всего, следует различать арабский и исламский миры. Если в понятии «культура унижения» и есть какой-то смысл, в первую очередь он относится к арабскому миру. Именно в нем сосредоточено в наибольшей степени унижение. Однако очень трудно сегодня отделить арабский мир от мира ислама. Ведь что такое ислам без арабов, без арабского языка, арабской культуры и арабской цивилизации? Хотя в поиске идентичности и своей роли в стремительно меняющемся и кажущемся им враждебным внешнем мире многие арабы находят прибежище в исламской вере, другим мусульманам трудно отстраниться от эмоциональных конфликтов арабов.

Именно такой симбиоз чувств арабов и культуры унижения может объяснить отсутствие мобилизации населения в исламском мире для борьбы с наиболее неприемлемыми словами и делами исламских фундаменталистов. Хотя после теракта 11 сентября в исламском мире и проходили демонстрации под лозунгом «Не от нашего имени», в которых отражалось несогласие с террористами, они были скорее исключением из правила.

Разумеется, существует множество причин слабой мобилизации сил на борьбу с насилием внутри ислама. Отсутствие отчетливой организации и ярких лидеров в мусульманских сообществах, в особенности в западном мире, не говоря уже о глубоких раздорах внутри ислама, вносят свой вклад в относительную апатию умеренных мусульман. Однако дело не только в ней. Многие мусульмане, хотя и считали теракты 11 сентября достойными осуждения и опасались их негативных последствий для мусульманских общин во всем мире, одновременно признавали, что террористов можно понять: Америку надо наказать за ее высокомерие.

Между тем не только мусульмане лелеяли такие мысли. Некоторые интеллектуалы, подобно Жану Бодрийяру во

Франции*, тоже выражали схожие чувства в своих статьях после 11 сентября. Однако никакое упрощение не может быть более ошибочным (или опасным), чем приравнение ислама и даже исламистов к террористам. Такое отождествление играет на руку тем исламистам, которые во всеуслышание заявляют, что под фразой «война с террором» на Западе в действительности скрывается «война против ислама».

Совершенно очевидно, что, говоря о связи между религией и терроризмом, следует выйти за пределы ислама. Йигал Амир, ультрарелигиозный иудей, «по воле Господа» убил в 1995 году израильского премьера Ицхака Рабина. К терроризму в равной степени прибегали и католики, и протестанты во время всплесков насилия в недавней истории Ирландии. В марте 2005 г. испанское правительство сначала заподозрило в организации серии взрывов в Мадриде баскских сепаратистов.

Тем не менее с арабской культурой унижения связывают себя сегодня множество мусульман, и антизападный терроризм вызывает определенную симпатию во всем исламском мире.

И все же было бы ужасной ошибкой для Запада сваливать всех террористов (не говоря уже о сочувствующих терроризму) в одну кучу.

По своей природе и целям террористы чрезвычайно разнообразны. С точки зрения американцев, объявление глобальной войны терроризму после теракта 11 сентября в эмоциональном смысле казалось вполне оправданным. Однако эта политика была обречена на провал. Несмотря на доводы американского политолога Филиппа Боббита в его книге «Террор и согласие: войны XXI века»**, терроризм — это не тот враг, которого можно победить. Это тактика насилия, которая будет использоваться до тех пор, пока ее будут считать эффективной.

* См.: Jean Baudrillard. *The Spirit of Terrorism and Requiem for the Twin Towers*. — New York: Verso, 2002.

** См.: Philip Bobbitt. *Terror and Consent: The Wars for the Twenty-first Century*. — New York: Alfred A. Knopf, 2008.

Тем не менее контролировать терроризм и снизить его угрозу до приемлемого уровня вполне возможно. В таких странах, как Франция и Германия, где мусульманское население составляет около пяти и трех миллионов жителей соответственно, опасными считаются всего несколько сотен человек. К тому же терроризм расходует своих приверженцев очень быстро. Ленин говаривал: «Нельзя оставаться революционером всю жизнь». То же самое относится и к террористам (даже если не учитывать тот факт, что жизнь террориста обычно коротка). Хотя «войну против террора» никогда не выиграть (в смысле искоренения терроризма раз и навсегда), террористы тоже не смогут победить. Только их непосредственные мишени — мирные жители — могут защитить себя, перестав верить в дело террористов и в «ценности», за которые они выступают. Такова реальность, которую каждый лидер Запада должен осознавать, и которую граждане Запада должны иметь в виду всякий раз, когда демагоги пытаются раздуть угрозу терроризма ради достижения своих политических целей.

Роль арабо-исламской культуры унижения не сводится к поддержке терроризма. Как я уже говорил, многие арабы испытывают смешанные чувства по отношению к Ирану. Хотя усиление страны и внушает им опасение, они восхищаются радикальной политикой ее руководства, которое осмеливается открыто противостоять Западу и его творению, Израилю. Сегодняшнее руководство Тегерана буквально купается в чувствах подобного рода. Хоссейн Шариатмадари, редактор ведущей персидской газеты Ирана, консервативной «Кейхан дэйли», и влиятельный сторонник исламской революции, говорит: «Иранский народ считает, что у него есть достоинство и эпоха запугивания прошла», а затем добавляет: «Если Тегеран и вмешивается в арабские дела как в Палестине и Ливане, то он делает это потому, что народы этих стран защищают исламский мир и исламскую идентичность, и у Ирана просто не остается другого выбора, кроме как поддержать их»*.

* Influential Promoter of Islamic Revolution. // *Financial Times*, 28 сентября 2007.

Некоторые представители арабского мира глубоко осознают проблемы, вызванные культурой унижения. Самир Кассир, самый известный обозреватель ливанской газеты «Ан-Нахар», писал об «арабской болезни» в своей книге «Быть арабом», опубликованной незадолго до того, как его убили неизвестные террористы в Бейруте*. Худший симптом этой болезни, по его словам, отказ арабов от выздоровления. Привлекательность исламского джихада в том, что это «единственная идеология, которая освобождает от состояния жертвы, с наслаждением принимаемого себе арабами».

Культура смерти, по наблюдению С. Кассира, является частью этой серьезной болезни. Если победа недостижима, «утешением может стать кровопролитие среди других». Такая логика кровной мести «стала неотъемлемым средством достижения желаемой цели, если не самой целью».

Единственным выходом в такой ситуации, по Кассиру, является преодоление этой логики. Арабский мир должен взглянуть на жертвенность в более широком контексте. «Мы должны отказаться, — пишет он, — от привычного присвоения арабами статуса жертвы и культивирования логики силы или духа отмщения, нам необходимо признать, что, несмотря на многочисленные поражения, XX век принес арабам также и многие блага, которые позволяют им участвовать в прогрессе человечества».

До участия в прогрессе, конечно, еще далеко. Положение женщин остается одним из главных препятствий в этом направлении. В 22 странах — членах Лиги арабских стран женская неграмотность остается на уровне 60%, несмотря на удвоение показателей грамотности взрослых и утроение показателей женской грамотности за последние тридцать лет. В развивающихся обществах женщины становятся двигателем прогресса и современности. Женщины — это не только биологическое средство для продолжения рода, но и источник надежды; желание перемен у них гораздо сильнее, чем у мужчин. Система, исключая женщин из жизни, подоб-

* См.: Samir Kassir. *Being Arab*. — New York: Verso, 2006.

но традиционному исламу, заведомо обречена в наши дни на отсталость и упадок. В более широком плане система, надеющаяся властью религию, враждебную к современности и переменам, не сможет развиваться.

В этом контексте запрет женщинам появляться в общественных местах с непокрытой головой один из самых эмоционально заряженных символов, с которым приходится и придется иметь дело современному исламу. В моей родной стране, Франции, принят закон, запрещающий девочкам носить хиджаб в детском саду и в средней школе. Я не был горячим сторонником этого закона, хотя и понимал заложенную в нем логику. Франция — это страна, где якобинские традиции крайнего антиклерикализма и светский характер государства (часто это называют секуляризмом, хотя на самом деле это понятие гораздо шире) стали чем-то вроде религии. Однако исламская идентичность, в том числе необходимость покрывать голову платком в общественных местах, совсем не обязательно несет угрозу гражданскому обществу. Меня не удивило, когда по прибытии в Лондон я встретил на вокзале Ватерлоо молодую женщину-полицейского в брюках и куртке и в скромном хиджабе, подчеркивающим ее идентичность. Я увидел в этом торжество терпимости и культурного разнообразия.

С другой стороны, никаб и паранджа, полностью закрывающие тело женщины и ее лицо, на мой взгляд, прямо противоречат ценностям Запада и нормам повседневной жизни в нашей системе ценностей. Западную цивилизацию характеризует культ индивидуальности, и именно лицо отличает одного человека от другого. Именно портретная живопись сыграла в свое время решающую роль в развитии западного искусства. В философии жизни нет ничего более уникального и ценного, чем глаза человека, «зеркало его души». Для западного человека, если он не видит глаза человека, тот словно перестает существовать. Как он может тогда взаимодействовать с обществом?

Французские власти недавно отказались предоставить гражданство живущей в стране замужней женщине на том основании, что она носила никаб. Должен сказать, что это

решение меня не потрясло. Терпимость к системе ценностей Другого должна прекращаться в тот момент, когда она подрывает наши собственные ценности. Абсолютный культурный релятивизм, представление, что каждый может делать то, что он хочет, без каких-либо ограничений, столь же опасен, как и нетерпимость, поскольку приводит к циничному нейтралитету и утрате какой-либо системы ценностей.

И все же решить эти проблемы Западу нелегко. Нам нужно защищать собственные ценности и поощрять в арабском мире постепенное снижение непреклонности и заикленности на обороне, характеризующей культуру унижения. Однако как добиться этого, не навязывая наших собственных ценностей и тем самым усиливая ощущение потери независимости и чувство угнетенности, которые и породили унижение и обиду? Я не знаю простого ответа на этот вопрос.

Одна из драматических составляющих арабского мира и причин сохранения культуры унижения состоит в том, что большинство ведущих специалистов по арабскому миру и цивилизации не арабы, а представители Запада. Это означает, что многие арабы смотрят на свою собственную историю, если вообще смотрят, глазами Других. Им необходимо научиться страстному, даже ревностному отношению к своей истории, что возможно только тогда, когда политические реформы в арабо-исламском мире создадут благоприятную среду для объективных исторических исследований. Пока сохраняется власть неустойчивых и коррумпированных режимов, такой жизненно важный мировоззренческий прорыв вряд ли будет возможен.

Политические реформы, экономический прогресс, культурное обогащение, психологические и эмоциональные перемены глубоко взаимосвязаны. И все они ведут к одному — к обретению уверенности в себе.

Проблески надежды

В арабо-исламском мире есть одно место, к которому мои рассуждения о культуре унижения не относятся, и именно

оно, скорее всего, станет источником необходимых перемен.

Арабские Эмираты в Персидском заливе — это маленькая часть региона, в котором в окружении бедных и беспокойных соседей существует зона процветания и стабильности. В политическом смысле Объединенные Арабские Эмираты — это классическая олигархия, где автократия, следующая бедуинской традиции, уравнивается диалогом и заботой об интересах других. Просвещенная деспотия правящих семей подпитывается осознанием хрупкости их положения. Ведь кроме постоянно присутствующей террористической угрозы существует также угроза демографическая. За исключением Саудовской Аравии, которую никак нельзя отнести к категории просвещенных монархий, и Омана, коренное население в странах ОАЭ составляет крошечное меньшинство (15% в Объединенных Арабских Эмиратах и 20% в Катаре).

Более того, нужно признать, что уверенность в себе, ощущаемая Эмиратами, несколько искусственна, поскольку она основана на богатстве, источником которого являются исключительно запасы нефти. Можно, конечно, признать, что Дубай и Бахрейн расширили свою экономику за пределы чисто нефтяной отрасли и развили торговлю, а некоторые даже считают Дубай крупнейшим центром отмывания доходов в мире, однако нефть и газ по-прежнему составляют основу их богатства и относительной свободы. Прогресс в них тоже хрупок. Где они окажутся, когда мир преодолеет свою зависимость от ископаемого топлива или когда его запасы в песках иссякнут?

Иначе говоря, Эмираты не могут служить моделью для остального арабо-исламского мира. Прогресс этих стран очевиден, однако он лишен духовного содержания и способен вызывать только зависть и ревность.

В небольшом очерке о своей жизни в Дубае американский журналист Майкл Слекмен рассказывает о противоречиях современной жизни в Эмиратах*. Он пишет: «Кое

* См.: Michael Slackman. Young and Arab in Land of Mosques and Bars. // *New York Times*, 22 сентября 2008.

в чем Дубай представляет собой картину того, чем остальной арабский мир мог бы стать, если бы обладал сравнимыми экономическими возможностями, решимостью жить по закону и терпимостью к культурному разнообразию. В такой среде молодые люди обращаются к религии не потому, что она заполняет пустоту или подчиняясь требованиям общества. Это, в свою очередь, создает атмосферу, открытую не только для тех, кто не склонен столь строго следовать традиционным религиозным предписаниям, но и для тех, кто более набожен. В Египте, Иордании, Сирии и Алжире в человеке с длинной бородой часто видят исламиста и иногда отказывают ему в приеме на работу. В Дубае этого нет».

Однако в той же статье Слекмен описывает отсутствие корней и смятение в умах многих молодых мусульман, привлеченных в Эмираты экономическими возможностями и личной свободой. Разрываясь между двух миров в номинально исламском обществе, где повсюду поп-музыка, роскошные машины, выпивка и проституция, они начинают воспринимать свою «прежнюю» жизнь в традиционной арабской культуре удушающей, а свою «новую» жизнь бессмысленной, лишенной цели и столь же неспособной их удовлетворить.

Когда-нибудь стремительно развивающийся мир Арабских Эмиратов сможет создать социальную структуру, которая станет подлинной альтернативой культуре унижения, господствующей в остальном исламском мире, но это время еще не пришло.

Ключевой страной, в которой можно надеяться на возрождение арабов в ближайшем будущем, может оказаться Египет. Сможет ли Срединная империя Среднего и Ближнего Востока сыграть эту роль? Будучи арабской державой с самым крупным средним классом и тесными связями с Западом, а также с самым умеренным правительством, Египет имеет возможность стать той искрой, из которой возгорится пламя. Однако в ближайшее время это маловероятно. Географически Египет, где живут более 75 млн человек, расположен возле центра большой дуги исламских стран,

простирающейся от Гибралтарского пролива через весь Ближний Восток. Это крупнейшая страна региона, а историческая роль колыбели мировой цивилизации дает ей возможность претендовать на лидерство. Однако политические условия, необходимые для арабского Возрождения в Египте, похоже, отсутствуют. В нем нет сильных, позитивных лидеров, готовых поддержать такое движение на египетской сцене в настоящий момент, да и за кулисами таких лидеров пока не видно.

Если позитивные реформы не будут исходить из самого сердца арабского мира, могут ли они начаться на окраинах исламского мира? Станет ли европеизированный ислам шагом к примирению исламистского и умеренного ислама? Подобное примирение привело бы к некоей нормализации отношений внутри ислама, а это необходимая ступень для нормализации отношений ислама с остальным миром. Это совсем не мечта о невозможном. Предпосылкой для этого может стать появление нового поколения мусульманских теологов и интеллектуалов, готовых внести свой вклад в создание просвещенного ислама. Для этого нужно также широкое освещение успехов молодых европейских мусульман во всех сферах жизни — от бизнеса и государственного управления до науки, образования и искусств.

Надежда на появление подобной тенденции существует. Вспомним, например, о немецких режиссерах турецкого происхождения, играющих все большую роль в кино, британских режиссерах индийского происхождения, французских кинематографистах алжирского и марокканского происхождения в новом кино Европы. Все они — явное свидетельство творческого потенциала европеизированного ислама.

Если подобное культурное возрождение произойдет, европейский ислам сможет предложить ролевую модель и стать источником надежды для мусульман всего мира. Экстремисты найдутся всегда, но сегодня их влияние в исламе основано на культуре унижения. Разрушьте это, продемонстрировав достойную альтернативу, и надежда хлынет в исламский мир.

Глава четвертая Культура страха

*Опасности меняют человека;
Пройдет беда — осмелится, глядишь,
Уж он не тот. Меня невольный трепет
Охватит, как подумаю: а что,
Как он, домой вернувшись, о посланье
И думать позабудет, мой посол?**

Еврипид. Ифигения в Тавриде

*Сомнения — предатели: они
Проигрывать нас часто заставляют
Там, где могли б мы выиграть, мешая
Нам попытаться**.*

Уильям Шекспир. Мера за меру (I, iv)

В моем анализе страх стоит на третьем месте, поскольку эта эмоция на Западе, на мой взгляд, является реакцией прежде всего на то, что разворачивается совсем в других местах. Впервые за два столетия Запад не «заказывает музыку». Восприятие нашей уязвимости и относительной потери центрального положения — вот подлинная причина кризиса нашей идентичности.

Подобный кризис можно охарактеризовать следующими словами: «Что с нами случилось? Раньше мы управляли своей коллективной жизнью и нашими идентичностями. Мы распоряжались остальным миром. Даже если в XX веке мы подвергали себя самоуничтожению [Первая мировая война] и самоубийству и убийству [Вторая мировая война и холокост], это было дело наших рук. Мы сами грешили.

Теперь нам кажется, будто мы стали жертвами сил, которые неспособны контролировать. Азия вот-вот превзойдет

* Перевод И. Анненского.

** Перевод О. Сороки.

нас экономически. Фундаменталисты исламского мира намерены уничтожить нас. Нас вот-вот накроет волна иммигрантов с юга. Можем ли мы восстановить контроль над собственной судьбой?».

Страх я рассматриваю несколько иначе, чем надежду и унижение, поскольку в данном случае сам являюсь частью описываемой мной культуры. У меня нет удобного расстояния, отделяющего меня от нее и позволяющего сосредоточиться на существенном, чтобы взглянуть на события и чувства со стороны. И я не просто человек Запада, я француз и поэтому рискую надеть Запад чувствами и эмоциями, характерными только Франции. В то же время моя близость к западной культуре позволяет мне говорить о ней с компетентностью, полученной в результате собственного жизненного опыта и глубокого погружения в эту культуру. Пусть читатель судит сам, удалось ли мне обуздать свой личный опыт мудростью объективности.

Что такое страх?

Кризис идентичности, перед которым стоит западный мир, можно свести к понятию страха. Однако одно и то же слово может характеризовать совершенно разные аспекты действительности. Страх, который сегодня испытывает Америка, отличается от страха, который охватил Европу. Тем не менее не будет чрезмерным упрощением утверждать, что он объединяет обе части Запада — американскую и европейскую. Но именно фактор страха может отделить нас от Америки, если ее молодой президент сумеет избавить страну от культуры страха и восстановить традиционную культуру надежды, в то время как в Европе в третий раз не будет принята конституция после голосования против нее Ирландии, Франции и Голландии, а континент начнет все больше и больше терять уверенность в себе. Возникла бы странная ситуация. Возможно ли, чтобы в момент наибольшего политического сближения Соединенные Штаты и Европа в эмоциональном плане

разошлись по двум разным эмоциональным культурам — надежды в Америке и страха в Европе?

Кризис идентичности западного мира до сих вызывает эмоциональное состояние страха. Хотя Барак Обама стал президентом Соединенных Штатов, пообещав во время избирательной кампании перемены и надежду американскому народу, еще слишком рано говорить, удастся ли ему вырастить чувство надежды, которое только-только начало зарождаться.

Начнем наш анализ не с различий между двумя частями Запада, а с того, что их объединяет. Каковы бы ни были различия, у них одна и та же проблема — необходимость признать, что глобализация уже вышла из-под их контроля. (А для новых мировых держав — Китая, Индии и России — главной проблемой является признание того, что с ростом их мощи должна усиливаться ответственность, и им уже нельзя вести себя подобно международным безбилетникам.) Потеря контроля над будущим является общим источником страха для всех стран Запада.

Если надежда — это уверенность в себе, а унижение рождает противоположное состояние, что такое страх?

По распространенному определению, страх это эмоциональный ответ на восприятие — реальное или преувеличенное — надвигающейся опасности. Страх ведет к оборонительному рефлексу, в котором отражаются особые черты и уязвимость личности, культуры или цивилизации в каждый конкретный момент. Другими словами, «Скажите мне, чего вы боитесь и что вы делаете, чтобы преодолеть свой страх, и я скажу, кто вы».

Страх — это не только эмоциональный индикатор, это многогранная реальность.

Разумеется, фактор страха является неотъемлемой частью защиты от чрезмерной самоуверенности. Страх — это сила, позволяющая выживать в мире, полном естественных опасностей. Заяц, который не боится охотника, не проживет долго. Турист, отправляющийся в Афганистан или Пакистан, будет безответственным глупцом, если не примет предосторожностей, продиктованных страхом.

Страх заставляет более внимательно относиться к окружающему миру — это конструктивное предостережение, естественный защитный инстинкт.

Страх может также стоять у истоков надежды. После Второй мировой войны страх перед новой войной между Францией и Германией стал решающим фактором в образовании Европейского союза. А страх перед последствиями глобального потепления может заставить человечество принять меры, необходимые для защиты нашей планеты от биологической катастрофы.

Однако чрезмерный страх опасен. Навязчивый страх, реальный или предполагаемый, серьезно мешает способности взаимодействовать с миром других — как внутренним, так и внешним. «Страх дезориентирует, и иногда довольно серьезно. Он способствует формированию общего уровня беспокойства, которое в лучшем случае отвлекает, а в худшем совершенно дезорганизует», — предупреждает историк Питер Н. Стирнс в книге «Американский страх: причины и последствия высокой тревожности»*.

Не пришел ли чрезмерный страх последних лет на смену разумным опасениям и не подвергает ли он опасности саму суть Запада, его единство и способность взаимодействовать с миром? Не запустил ли страх механизм неизбежно сбывающегося пророчества?

Многие в Соединенных Штатах и Европе с возмущением отмахнутся от этого вопроса. Некоторые американцы будут возражать против сходства Соединенных Штатов и Европы, предпочитая отличать «культуру слабости» Европы от «культуры силы» Америки. Другие станут доказывать, что страх «исламофашизма» (по выражению неоконсерваторов) нельзя считать чрезмерным, особенно после террористических актов 11 сентября. Другие же, более тонко чувствующие, заметят, что западные лидеры, особенно американские, могли бы более эффективно слу-

* См.: Peter N. Stearns. *American Fear: The Causes and Consequences of High Anxiety*. — New York: Routledge, 2006. — P. 201.

жить обществу последние десять лет, если бы больше опасались или хотя бы осознавали постепенно нарастающие опасности, угрожающие глобальному благосостоянию, в том числе вызванные влиянием человека на изменения климата, и растущие, как снежный ком, риски на финансовых рынках. Другие же, особенно в Европе, отвергнут любую попытку собрать все страны континента под один эмоциональный зонтик, подчеркивая существенные различия политических и социальных реакций различных европейских народов на воспринимаемые ими опасности начала XXI века.

Разумеется, можно избежать споров и по традиции говорить о Западе не в терминах страха, а в терминах демократии, поскольку демократические политические институты считаются самым сильным связующим звеном между Европой и Соединенными Штатами. К сожалению, подобные классические представления, основанные на ценностях, а не на эмоциях, не дают возможности рассмотреть существенно новую характеристику нашего времени. Сегодня граждане стран по обе стороны Атлантики уже не так гордятся своими демократическими моделями существования и лидерами, которых избирают (по крайней мере, это отражается в опросах населения о доверии к политике и политикам в большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах).

Известно, что граждане демократических стран никогда не стеснялись обличать недостатки и ошибки своих политиков, а также системы, которые их порождают. Согласно знаменитому высказыванию Черчилля, «демократия — наихудшая форма правления, за исключением всех других». Однако сегодняшнее чувство разочарования в демократических странах Запада — это новое, болезненно реальное и расширяющееся явление.

На мой взгляд, существует связь между страхом, который мы испытываем, и ослаблением демократических идеалов. Я даже осмелюсь сказать, что культура страха сокращает качественный разрыв, когда-то существовавший между демократическими и недемократическими режимами,

поскольку страх заставляет нарушать демократические моральные принципы, основанные на строгом соблюдении верховенства права. Когда демократические страны проповедуют ценности, которым не следуют на практике, они теряют моральный авторитет, а с ним и привлекательность для остального мира.

Разумеется, следует рассматривать новый, сегодняшний «западный страх» в соответствующем реальном контексте. В самом по себе страхе нет ничего нового, и циклические волны политического и культурного страха испытывали и Европа, и Соединенные Штаты. Первой задачей Франклина Д. Рузвельта, избранного президентом США в 1932 г., было избавить американский народ от культуры страха, охватившего страну в результате Великой депрессии. Перед Второй мировой войной в Европе тоже господствовал страх возможной войны, который ослеплял и приводил к пассивности перед лицом поднимавшихся фашизма, нацизма и советского коммунизма, с которыми миллионы людей, напротив, связывали свои надежды (в этом и была трагедия Европы между двумя мировыми войнами). Культура страха охватила Америку в начале 1950-х годов. Она нашла свое выражение в вспышке маккартизма, сочетавшего паранойю, подозрительность и запреты.

За последние несколько лет новая циклическая волна страха, у которого много общих черт и в Европе, и в Соединенных Штатах, вновь захватила наше сознание. По-моему, цикл этот начался не 11 сентября 2001 года — теракт только подтвердил и углубил страх. В обоих регионах Запада этот новый цикл обнаруживает страх перед Другим, перед пришельцем, явившимся захватить нашу родину, подвергнуть опасности нашу идентичность, украсть нашу работу. В обоих регионах этот цикл включает страх перед терроризмом и страх перед оружием массового поражения, и оба они легко сливаются в один. Не говоря уже о страхе экономической нестабильности, а также о страхе перед природными, химическими и экологическими катастрофами — от глобального потепления до мировой пандемии. В целом это страх перед неопределенным и

угрожающим будущим, которое человек почти неспособен, если вообще способен, контролировать. Сегодня все эти страхи распространены и среди европейцев, и среди американцев.

Однако, хотя европейские и американские страхи кажутся похожими, основаны они на различной действительности и выражаются по-разному. Поэтому их необходимо анализировать отдельно и только после этого рассматривать то, как они влияют друг на друга и вместе взятые — на окружающий мир.

«Кто мы?»: европейская культура страха

Первой трудностью в определении понятия культуры страха в Европе является само слово «Европа». О чем мы говорим: о Европейском союзе? Или мы понимаем этот термин более широко, считая Европой некую культурную или географическую реальность? Характеризуется ли эта Европа определенным наследием Древней Греции и Древнего Рима, иудеохристианскими ценностями и культурой Просвещения? Или же это просто «джентльменский клуб» демократических стран с рыночной экономикой, которые олицетворяли надежду в течение большей части послевоенного периода, а сегодня начали испытывать страх?

Достаточно сказать, что чувство страха, господствующее в Европейском союзе, оказывает влияние далеко за пределами самого Союза. «Умирали не все, но заразились все», — писал Жан де Лафонтен в басне «Звери, больные чумой». Кризис идентичности Европы усугубляется сегодня серьезным спадом на финансовых рынках, экономическим спадом и снижающейся покупательной способностью европейцев, однако исторически он предшествовал краху ипотечного рынка. Посмотрите европейские новости по телевидению, в особенности на французских, чешских или итальянских каналах. Почти каждый вечер где-нибудь на континенте можно услышать нападки на жесткие и анонимные решения Еврокомиссии, которая

навязывает финансовые жертвы различным категориям работников, будь то рыбаки, крестьяне или хозяева ресторанов. Сегодня Европа предстает скорее источником проблем, чем их решением, источником обременения скорее, чем защитой.

Так было не всегда. Падение Берлинской стены в 1989 г. стало кульминацией европейской культуры надежды, и народы по всему континенту праздновали падение стены, которая их разделяла. Менее чем через двадцать лет после этого события, в 2005-м, французы и голландцы сказали «нет» Европейской конституции, за ними точно так же в 2008 году отвергли конституцию ирландцы, и это стало зримым признаком появления культуры страха на европейском континенте. Кажется, будто европейцам самим захотелось выстроить стены, которые отгородили бы их от внешнего мира — от миллионов конкурентов, от тысяч иммигрантов, от сотен террористов. Как могла произойти такая перемена?

Чтобы понять, как это случилось, бросим взгляд на период европейской надежды, возникшей из руин в конце Второй мировой войны. Это был не только период восстановления экономики, нового строительства, экономической экспансии, но и время распространения либерализма и свободы, а также все усиливающегося международного единства. Европа, колыбель двух мировых войн, стала самым мирным и процветающим регионом планеты, в котором действовал целый ряд международных организаций и институтов, начиная с Совета Европы с его Конвенцией по правам человека и кончая множеством европейских структур, которые в конце концов привели к возникновению Европейского союза и введению единой валюты евро. Эти институты помогли распространить преимущества от их деятельности на все увеличивающееся количество народов континента и во всем мире.

И все же внимательное изучение этого периода надежды показывает, насколько тесно связаны надежда и страх. И в самом деле, как я уже упоминал, некоторая степень страха — боязнь возвращения в прошлое и новой

вспышки военного противостояния между Францией и Германией, по сути, помогла продвижению проекта Европейского союза, начиная с создания Объединения угля и стали в 1950 году. Именно страх перед советскими танками и опасение, что корейская война может стать предзнаменованием конфликта между коммунизмом и капитализмом на европейской почве, побудил выдвинуть в 1950 году План европейского оборонительного сообщества, отвергнутый после смерти Сталина. А опасение возрождения германского национализма и той всеподавляющей силы, которой будет обладать экономически мощная Германия, привел к введению общей европейской валюты.

Канцлер Гельмут Коль выразился по этому поводу весьма ясно. Он представлял себя как последнего «доброего немца» — иначе говоря, последнего канцлера Германии с личными воспоминаниями о Второй мировой войне. Он говорил своим партнерам в Европе, что им нужно поторопиться завершить начавшийся после холодной войны процесс интеграции и введение европейской валюты, поскольку после него, может быть, будет уже поздно. Страх спадет, и националистические настроения появятся снова.

Такой позитивный страх — позитивный в том смысле, что он мобилизовал энергию на международной арене для конструктивной работы, был совершенно непохож на тот страх, который господствует в Европе сегодня. Сегодняшний страх приводит к параличу.

Разумеется, Европа остается сообществом стран с характерными политическими и социальными культурами, и каждая европейская страна по-своему уникальна. Так, страх французов нельзя путать со страхом британцев, а страх поляков — со страхом немцев. И все же справедливо одно — сегодня страх является «доминирующим цветом» Европы.

Чтобы понять современные «археологические» слои европейского страха, необходимо для начала рассмотреть исторические, политические, экономические, социальные и психологические факторы, которые сформировали отношение Европы к самой себе и к ее прошлому. Только тогда

можно будет проанализировать, как Европа видит свое будущее в экономическом и в стратегическом смыслах, а затем вернуться к трудному поиску европейской идентичности в наши дни.

Призраки прошлого

Начать следует с пересмотра очевидного пика надежды в 1989 году. Тогда падение Берлинской стены и последовавший за ней конец холодной войны, а также распад советской империи не принесли Европе эпоху мира, демократии и процветания — они скорее вернули войну в тыл континента, на Балканы.

Трудно переоценить влияние, которое оказал хаос в Югославии на уверенность европейцев. Мы не могли понять, что это все означало. Было ли это прорывом каких-то неразрешенных европейских проблем прошлого, связанным с тем, что в период правления Тито в Югославии возникло что-то вроде «социального холодильника», в котором брожение противоборствующих националистических настроений незаметно продолжалось десятилетиями. Или же конфликт означал возвращение войны в Европу, становясь предвестником угрожающего и потенциально разрушительного будущего?

Оттого что мы не смогли сами справиться с этой катастрофой, дела пошли еще хуже. Чтобы восстановить хрупкий мир в Боснии и Косово, потребовалось вмешательство Соединенных Штатов. И сегодня подспудные проблемы Восточной Европы с ее бедностью и ядовитой смесью националистических страстей остаются в основном нерешенными, а такие страны, как Болгария и Румыния, то и дело обвиняются в коррупции.

Некоторые считают, что решение лежит в дальнейшем расширении Европейского союза, такого джентльменского клуба с его магической формулой мира, процветания и этнического примирения. Выходит, чтобы избежать балканизации Европы, нам нужно европеизировать Балканы, а

затем и Кавказ? Однако большинство западноевропейцев встретило расширение без всякого энтузиазма, видя в нем скорее нравственный и исторический долг, а также политический и экономический риск, чем повод для оптимизма и торжества. Можно сказать, что расширение в эмоциональном смысле пришло слишком поздно (иначе говоря, слишком много лет прошло после падения Берлинской стены) и слишком рано с точки зрения развития социальных институтов, поскольку расширение происходило одновременно с «углублением» союза — иначе говоря, его экономическая, социальная и политическая интеграция по-прежнему далека от завершения.

Бронислав Геремек, великий европеец, скончавшийся в июле 2008 года, один из лидеров Солидарности и министр иностранных дел Польши, часто подчеркивал, что Европа — это не только экономическая зона, но и этническое здание, которому нужны сердце, теплота и духовность. Он был глубоко прав, но много ли европейцев думали и сейчас думают так же, как он?

Сильные националистические настроения нелегко преодолеть. Даже среди отцов-основателей Европы опасения, если не страх, преобладали над надеждой. Я до сих пор помню реакцию моих знакомых в Елисейском дворце, очаге президентской власти Франции, когда спустя несколько дней после падения Берлинской стены я призвал их к какому-нибудь символическому жесту со стороны французской дипломатии. Разве не могли французский президент Франсуа Миттеран и канцлер Коль пожать друг другу руки у Бранденбургских ворот в Берлине, как они это сделали в 1984 году на поле битвы под Верденом в Первую мировую войну? В Вердене французы и немцы закрыли дверь в прошлое, а в Берлине они могли бы открыть символические ворота в будущее. Мою идею тут же отвергли как «романтический порыв». Вместо этого во время визита в Германию французский президент совершил запланированную поездку в Восточную Германию и встретился с ее руководством, которое доживало последние дни. В действительности объединение Германии вызы-

вало страх, особенно в некоторых частях Европы. Старейший и больной Миттеран, чьи исторические взгляды сложились до Второй мировой войны, не мог не осознавать, что объединенная Германия будет играть центральную роль в установлении баланса сил в новой Европе. Разве Варшава не находится к Берлину ближе, чем к Парижу? Хотя политическая необходимость заставила его удержаться и не говорить этого вслух, было ясно, что, по его мнению, то, что будет хорошо для Германии, совсем не обязательно будет хорошо для Франции.

Будучи более уверенной в своей судьбе и способности преодолеть прошлое, Европа могла бы встретить новые обстоятельства более открыто, великодушно и действенно. Однако груз истории и сомнения по поводу сути «европейства», о том, что означает быть европейцем, о том, где Европа начинается и где кончается, усиливали неопределенность относительно будущего и экономических перспектив Европы.

Экономические тревоги

Девяностые годы шли, и Европу охватила экономическая неопределенность. В результате даже самые обычные проблемы многими осознавались как признаки приближающегося апокалипсиса. Во Франции и Германии безработица стала подобием социального рака, усиливая двойное чувство страха перед будущим и перед Другими, которые, как казалось, несправедливо отбирают рабочие места у коренных европейцев. А в 2008 г., когда рухнули финансовые рынки Соединенных Штатов и зараза экономической неопределенности и недоверия распространилась по всему земному шару, тревога по поводу экономики и страх новой депрессии, сравнимой с той, которую мир испытал в 1930-е годы, вышли на первый план в сознании европейцев.

Еще до экономического кризиса 2008 г. безработица в Европе достигала весьма серьезного уровня, в особенности среди молодых людей, впервые выходящих на рынок

труда. Психологически это создавало ощущение хрупкости жизни, передававшееся от поколения к поколению, поскольку дети родителей, пострадавших от безработицы, всегда стремятся к перестраховке и избегают рискованных ситуаций. Во Франции недавние опросы показали, что почти 75% молодых людей стремятся стать государственными служащими, чтобы получить гарантированную на всю жизнь работу.

Во время французских студенческих демонстраций 2006 г. против введения гибкого трудового законодательства демонстранты в интервью французскому телевидению говорили, что не хотят «стать чем-то вроде китайцев или индусов». Иными словами, они хотели защиты от рынка. Это не имело ничего общего с демонстрациями студентов сорокалетней давности, когда в мае 1968 г. их родители вышли на улицы, чтобы изменить косный мир, и часть из них вдохновляла Китайская культурная революция. Поколение же 2006-го не желало изменить мир, оно хотело быть защищенным от него. Финансовый кризис 2008 г. может только усилить такое желание некоего убежища от глобализации, которого, увы, нигде не найти.

После поездки в Азию весной 2008 г. один французский министр в частной беседе сказал, что он ощущал себя во время поездки так, будто представлял неразвитую страну: «Азиаты обращались со мной, как мы обращались с ними в прошлом». Глобализация и в этом случае стала поводом для опасений, связываемых со сменой места жительства, сокращением рабочих мест на предприятиях и с «несправедливой торговлей» вместо «свободной торговли».

Разумеется, в Европе сохраняются очаги превосходства, экономически мощные отрасли: например, производство предметов роскоши и ядерная энергетика во Франции, тяжелое машиностроение в Германии и динамичные семейные предприятия в Италии. Однако будет ли их достаточно, чтобы спасти народы континента от экономического упадка?

Тревога по поводу экономического застоя вызывает еще один вид страха у европейцев, более утонченный, но

широко распространенный. Это страх того, что Европа, перестав быть центром творчества и потеряв влияние в мире, обречена стать неким подобием музея, этаким большой Венецией, оазисом «хорошей жизни» и культуры, который люди других, более динамичных континентов хотят посетить и где хочется пожить после выхода на пенсию. Даже если Европу, как и весь остальной мир, обойдет стороной вторая Великая депрессия, плавный, но устойчивый спад в будущем представляется вполне правдоподобным.

Европейцы и Другой

Когда Франция и Нидерланды проголосовали против конституции Евросоюза в 2005 г., а за ними последовала Ирландия в 2008-м, причины подобного голосования в каждом случае были разными. Однако за каждым из этих голосований против дальнейшего укрепления Евросоюза стояла неудовлетворенность жизнью. Во всех трех случаях народы этих стран хотели наказать политическую элиту, а также выражали беспокойство, вызванное расширением Евросоюза и глобализацией, особенно во Франции и Нидерландах. Ирландское «нет» было особенно тревожным. Ирландия выгадала от членства в Евросоюзе больше всех. То, что она сказала «нет» лиссабонскому договору, и то, что негативные настроения были особенно сильны среди молодых голосовавших, продемонстрировало не столько неблагодарность, сколько глубокое неприятие направления, по которому движется Евросоюз.

Я находился в Берлине, когда узнал результаты ирландского референдума. Меня они не удивили. Инстинктивно я ощущал, что 9 ноября 1989 г. падение Берлинской стены стало величайшей победой моего поколения, а вот ирландский референдум 12 июня 2008 г. забил последний гвоздь в гроб наших надежд. Европа, о которой я мечтал с тех пор, как стал взрослым, умерла, пав жертвой политической бездарности и отчужденности граждан.

Есть некоторое чувство неопределенности относительно того, чем становится Европа. Оно начинается со страха Другого или, выражаясь более конкретно, страха мировой бедности, которая исходит в основном с Юга. По мнению многих европейцев, варвары не просто стоят у ворот, они уже хлынули через стены, и наше общество уже никогда не будет прежним.

Я до сих пор не могу забыть изумления весьма влиятельного деятеля британских политических кругов, которого я пригласил выступить в Европейском колледже в польском городе Натолин. Я устроил ему короткую экскурсию по близлежащей Варшаве. Он не мог поверить своим глазам: на улице не встретилось ни одного темнокожего, все были белыми, за исключением немногочисленных азиатов! Неужели Варшава, сойдя с советской орбиты, стала более европейской, чем Лондон? Хотя он и не сказал этого открыто, я понял, что он испытал облегчение, хотя ему, пожалуй, стало скучно. Здесь по крайней мере находился последний бастион «чистой» Европы — чего-то такого, что, с точки зрения англичанина, ушло навсегда.

Вспомним также кадры, показанные несколько лет назад из испанского анклава в Марокко. Там марокканская полиция убила десятки африканцев, пытавшихся перелезть через колючую проволоку, чтобы пробраться в наш «европейский рай». Эта потрясающая картина по крайней мере у человека моего поколения неумолимо вызывала в памяти образы недавнего прошлого, когда пограничники расстреливали восточных немцев, пытавшихся вырваться на свободу, за пределы Берлинской стены. Сегодня тысячи африканцев каждый месяц рискуют жизнью, стремясь спастись от нищеты, и на утлых суденышках бросают вызов бурному Средиземному морю. Среди этих анонимных героев наверняка много талантливых и умных сынов своего континента, которые дерзают противиться судьбе, поместившей их не в том месте и не в то время. Однако их мечта — это «наш» не слишком тайный кошмар.

Страх перед Другим порождается демографией и географией. «Они» слишком многочисленны и не имеют никакой

надежды там, где живут. «Нас» слишком мало, и мы слишком (сравнительно) богаты там, где живем. Чем больше мы нуждаемся в них для обеспечения роста наших экономик (учитывая нашу низкую рождаемость), тем сильнее мы отвергаем их эмоционально на культурных, религиозных и расовых основаниях. На определенном уровне разнообразие больше не видится фактором созидания благ и взаимного обогащения, это скорее фактор внутренне дестабилизирующий. В Швейцарии образ «черной овцы», использованный крайне правыми для обозначения иммигрантов во время последней избирательной кампании 2007 г., нашел широкий отклик. Во Франции Николя Саркози успешно переманил в свой лагерь крайне правых сторонников Жан-Мари Ле Пена, пообещав им бороться с нелегальной иммиграцией, и на посту президента он выполняет это обещание с энтузиазмом, который в будущем принесет множество проблем в области прав человека и грозит экономическими трудностями для Франции.

В сознании большинства перепуганных европейцев страх перед Другим настолько велик, что они готовы представить реальную оккупацию исламским миром, вероятность того, что Европа в демографическом и религиозном смысле будет захвачена «ими» и превращена в «Еврабию» (этим термином пользовались покойная итальянская журналистка Ориана Фаллачи, американский историк Уолтер Лакер и известный ориенталист Бернард Льюис).

Страх «Еврабии» не имеет под собой основания. Джонатан Лоренс и Джастин Вейсс приводят убедительную статистику в своем великолепном очерке о Франции и ее мусульманах под названием «Интеграция ислама: политические и религиозные вызовы современной Франции»*. Они показывают, что большинство европейских мусульман-немцев турецкого происхождения; мусульман-французов алжирского, марокканского или тунисского про-

* См.: Jonathan Laurence and Justin Vaisse. Integrating Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary France. — Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006.

исхождения и британских мусульман индо-пакистанского происхождения хотят успешно интегрироваться в соответствующих странах проживания. Они ожидают, что им предоставят возможность подняться в обществе и с ними будут обращаться справедливо, даже с некоторым братским чувством. Такая интеграция в действительности реальна, даже в самой интимной форме, через браки, поскольку около 40% европейских мусульман заключают браки не с представителями общин своих соплеменников.

В течение семи лет, когда я преподавал в Европейском колледже в Польше, некоторые из лучших моих студентов были французами алжирского происхождения. Они хотели добиться успеха как французы или, по словам одного из них, «по меньшей мере, как европейцы». Но разве мы обращаемся с ними справедливо, открыто и, что труднее всего, по-братски?

Страх перед Другим включает также страх терроризма, олицетворяемого прежде всего образом исламского фундаменталиста с бомбой. Страх перед терроризмом в Европе не является результатом массового травматического переживания, как в Соединенных Штатах. Как бы ни были ужасны теракты в Мадриде в 2005 году и в Лондоне в 2006-м (а также провалившиеся попытки терактов в Великобритании в 2007-м), жертв после них было намного меньше, чем 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Кроме того, ирландские и баскские террористы уже привили европейцам привычку к терроризму, и шкура у них стала толще. К тому же в каком-то смысле европейских граждан не существует. В душе большинство европейцев, наверное, меньше переживали из-за гибели людей в Мадриде и Лондоне, чем по поводу теракта в Нью-Йорке 11 сентября (по крайней мере, на короткое время, когда заголовки газет объявляли, что все мы ньюйоркцы).

Европейцы, судя по всему, постепенно привыкли к жестокой реальности: Европа не только мишень для террористов, это еще и их база. После июля 2006 г. большинство англичан потрясло, что враг находился среди них, фактически им были они сами. Террористы-самоубийцы в Лондоне в большинстве своем оказались британскими

гражданами, которые родились и получили образование в Великобритании. Большинство участников угонов самолетов в США 11 сентября тоже прошли обучение в технических университетах Европы. Они жили среди европейцев, их учили европейские профессора, но это не смогло отвлечь их от ужасных планов. Совершенно очевидно, что наши университеты не сделали для них привлекательными гуманистические идеалы, как не состоялась и попытка интегрировать их в социальном и культурном смысле.

Эти факты подчеркивают уязвимость и слабость Европы перед лицом ненависти исламского мира. Однако эту ситуацию следует оценивать трезво. Было бы самоубийственным не обращать внимания на существующую угрозу, но превращать ее в навязчивую идею не продуктивно, поскольку нашей целью должна быть максимально успешная интеграция мигрантов любых верований и происхождения. В конце концов, нам они нужны так же, как и мы им.

Есть, наконец, страх попасть под власть внешней силы. Эта сила может оказаться дружественной, как Соединенные Штаты, а может, и не совсем дружественной, как Россия; хотя ею может стать и анонимная, невыборная бюрократия, как органы Еврокомиссии в Брюсселе. Первая вероятность, очевидно, вызвала больше всего опасений во Франции (по крайней мере, до прихода к власти Николя Саркози и Барака Обамы в Соединенных Штатах), вторая — в Польше, а третья — в Британии. В последнее время общественность все чаще видит в Еврокомиссии этакое двадцать восьмого члена Евросоюза со своими собственными специфическими и характерными национальными интересами, а не воплощение общего блага Европы. Однако все эти страхи объединяет общий страх потери контроля над собственной судьбой.

Кто мы?

Чувство неопределенности у европейцев усугубляется отсутствием четких географических границ. Это чувство в сочетании с неспособностью Евросоюза выработать ясное понима-

ние своей идентичности, целей существования и направления движения группы стран, которые он объединяет, безусловно, имело негативное влияние на психологическое состояние Европы. Кто мы? У европейцев нет ясного ответа на вопрос о том, где начинается и где кончается их континент. Как быть с Украиной? Как быть с кавказскими республиками, например с Грузией? А страны на противоположном берегу Средиземного моря, как Марокко? Смогут ли Франция и Алжир стать опорой процесса примирения между двумя берегами Средиземного моря, которое страстно проповедует президент Франции Саркози? А как насчет страны явно западной, хотя и не европейской — Израиля?

Беспокойство по поводу границ Европы достигает особенно эмоционального накала в спорах по поводу Турции. За исключением, пожалуй, британцев, большинство граждан Европы с открытой враждебностью относятся к принятию Турции в качестве полноправного члена Евросоюза. Турция воспринимается не как «европейский Другой», а как «неевропейский Другой». Во Франции эта враждебность наиболее очевидна: по опросам, 75% французов не согласны с принятием Турции в Евросоюз.

Это противодействие невозможно понять с чисто рациональной точки зрения. Оно не проистекает из политических, экономических или даже демографических проблем. Это прежде всего производная страха перед многочисленными и абсолютно Другими (мусульманами), которых олицетворяет Турция. Это страх перед оккупацией восьмьюдесятью миллионами мусульман, ошибочно принимаемых средним французом за арабов, нашего «христианского», хотя и светского, пространства.

К слову сказать, рациональные доводы в пользу вступления Турции в Евросоюз были подкреплены событиями 11 сентября 2001 года. Необходимость иметь стратегического и дипломатического партнера, который значительно усиливает влияние Европы на Ближнем Востоке, а также послание примирения исламу, динамичный рост молодой турецкой экономики — все это, несомненно, свидетельствует в пользу членства Турции. Как и современное политическое развитие

этой страны, в которой идеология Кемаля Ататюрка (сосредоточенная на современных светских реформах, проводимых мягкой авторитарной военной властью) уступает новым силам, опирающимся на социальные нормы ислама, что требует реакции в плане усиления народной демократии. В текущих обстоятельствах закрыть дверь Европы для Турции чревато очевидным, на мой взгляд, историческим риском, поскольку это отбросило бы наследников Османской империи на путь азиатского, мусульманского и ближневосточного развития.

Достижения демократии в Турции, по правде говоря, не очень впечатляют. Однако в чисто экономическом смысле у Стамбула больше прав участвовать в Европейском союзе, чем у Софии или Бухареста. В вопросе присоединения Турции к Евросоюзу путь гораздо важнее цели. Реформы, которые Турция смогла провести за очень короткий промежуток времени благодаря положению кандидата в члены Евросоюза, поистине производят огромное впечатление. Можем ли мы взять на себя исторический риск заблокировать позитивный процесс нашим решительным «нет»?

На уровне эмоций я, разумеется, понимаю обеспокоенность противников вступления Турции в Евросоюз, учитывая, что Сирия и Ирак получают общие границы с Евросоюзом. Да и в культурном смысле Турция, вне всякого сомнения, страна неевропейская. Даже в Стамбуле, самом европеизированном городе Турции, стоит только уйти в сторону от главных улиц, и ты погружаешься в мир Ближнего Востока или Азии. Желание видеть Турцию в Евросоюзе означает акт доброй воли и политического разума, хотя во многом противоречит здравому смыслу.

И все же я без колебаний выступаю за принятие Турции в ЕС. Без перспективы стать членом Евросоюза искушение Востоком может оказаться непреодолимым для Турции. В результате Евросоюз получит потенциально весьма проблемного соседа.

Вопросы, связанные с идентичностью, поставленные турецкой дилеммой, еще серьезнее. В основании Евросоюза

лежит культура или политика? Вопрос этот далек от ясности и служит превосходной иллюстрацией все большей путаницы между понятиями Европы в целом и Европейского союза. В долгосрочной перспективе множество идентичностей приемлемо, только если вы удобно себя чувствуете в пределах своей основной идентичности. Если нет, стремление отвергнуть наложение чужеродной культуры на вашу базисную культуру будет непреодолимым. Чтобы многокультурность стала работающей формулой, ее следует практиковать с верой в нее.

По этим и многим другим причинам в большинстве стран — членов союза возникло чувство отчуждения по отношению к самому Евросоюзу. Франция больше не чувствует себя главой семьи за столом заседаний Совета министров. В этой новой Европе столько незнакомых лиц, столько новых языков, которые трудно распознать, а на выражение своего мнения так мало времени, ведь перед вами выступает Мальта, а сразу после вас — Словения! Парижу все труднее сохранять иллюзию, что Европа — это «преследование национальных целей иными средствами», когда приходится идти на такое количество компромиссов.

В то же время, хотя Германия выглядит, да и ведет себя как «вторая Франция», и она не горит желанием пожертвовать тем, что считает собственными национальными интересами, ради некоего абстрактного общего европейского дела. Хотя Германией сейчас руководит новое поколение политиков, в значительно меньшей степени обремененных историческим чувством вины за преступления нацистов, она и сейчас остается самой европейской нацией Европы, как будто двенадцать лет варварства дали ей надежную прививку против зла национализма. Но Германия не может тащить за собой Европу одна.

Усилится ли у Европы чувство уверенности в себе, если угасающий национализм отдельных стран уступит место объединяющему патриотизму целого континента? Нам этого не узнать, поскольку основатели Евросоюза намеренно предпочли не поощрять подобный континентальный

патриотизм. Жак Делор, возглавлявший Евросоюз с середины восьмидесятых до середины девяностых и оставшийся, пожалуй, самым незаурядным его председателем, страстно выступал против формирования такого «европейского чувства». Для него «патриотизм означал войну». В результате такого негативного видения патриотизма есть опасность того, что национальные чувства вспыхнут снова и еще отыграются, а общность национальных интересов — это единственный благоразумный барьер, ограничивающий их отрицательное воздействие.

В Варшаве я присутствовал на церемонии празднования вступления Румынии и Болгарии в Европейский союз. Национальные гимны звучали страстно и эмоционально, а гимн Евросоюза, «Оду радости» из 9-й симфонии Бетховена, проиграли со скромным равнодушием. Такое различие между исполнением гимнов символизирует эмоциональную пропасть между нашими национальными идентичностями и нашей идентичностью европейцев.

Чтобы восстановить уверенность в себе, Европе придется больше работать и стремительно развиваться. Современные различия между экономическим ростом Европы и Азии в долгосрочной перспективе грозят катастрофой. Пока Запад остается полушарием долгов, а Восток — полушарием роста (пусть даже замедлившегося роста), увядание Европы будет неумолимо продолжаться.

Американская культура страха

Если составить картинку Европу трудно, Америку охарактеризовать не легче. Америка республиканцев противостоит Америке демократов, богатая Америка — бедной, сельская Америка — городской, провинциальные городки — Америке Уолл-Стрит, белая Америка — чернокожей Америке (последнее различие представляется особенно реальным при анализе последствий урагана Катрина 2005 г.) — можно продолжать перечислять множество глубоко противоречивых реальностей, которые характеризуют Америку.

Есть еще один критерий разделения Америки: можно сказать, что одну Америку объединяет страх, а другую — страх перед этим страхом, и эта последняя Америка стоит под знаменами надежды. С этой точки зрения президентская кампания 2008 года может быть рассматриваться как противоборство кандидата страха Джона Маккейна и кандидата надежды Барака Обамы.

Негативная избирательная кампания республиканской партии строилась на обострении социальных, культурных и экономических страхов. Можете ли вы доверять человеку, у которого так мало опыта и у которого второе имя Хусейн, характерное для мусульман? Разве формирующая общественное мнение городская «элита» из Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона и Лос-Анджелеса заботится о ценностях и нуждах «синих воротничков» и владельцев малых предприятий в американской глубинке? Разве кто-то собирается защищать традиционные американские культурные ценности от наступления волны глобального капитализма? Для последнего поколения политиков страхи подобного рода были привычным оружием в избирательных битвах в Соединенных Штатах, однако в избирательной кампании 2008 года республиканцы отвели им центральную роль.

Стиль Обамы, напоминающий стиль Кеннеди, напротив, пробуждал культуру надежды в Америке. Демократический оптимизм на выборах 2008 года основывался на предположении о том, что в последний день выборов, несмотря на возраст и цвет кожи Обамы, американцы, поскольку они американцы, выберут молодой «цвет надежды». Победу Обамы, возможно, будут рассматривать как поворотный момент в американской истории — от страха к новому варианту американской надежды, хотя для претворения в жизнь такого поворота потребуется, несомненно, нечто большее, чем победа на выборах, какой бы впечатляющей она ни была.

Говоря об американской культуре страха, я остро ощущаю одну трудность. Пусть я и не американец, отношения с этой страной у меня очень личные. Я учился в Гарвардском уни-

верситете в начале 1970-х, что многие из моих читателей могут скорее счесть недостатком, чем преимуществом. Однако для меня Америка значит нечто большее, чем просто страна, где я получил образование. Америка дала мне жизнь, надежду, мечты. Американцы освободили моего отца из фашистского концентрационного лагеря* 8 мая 1945 и тем самым сделали возможным мое появление на свет. Америка также позволила моим мечтам сбыться, поскольку студенческие годы в Гарварде во многом изменили мою жизнь.

Как ни печально, Америка 2001–2008 гг. мало чем напоминала ту Америку, которая помогла сформировать мою жизнь. Поэтому в отношении Америки я не столько нейтральный наблюдатель, сколько разочаровавшийся поклонник. Пусть я рискую быть необъективным в разговоре об этой стране из-за эмоциональной связи с ней, которая так много для меня значит, я буду продолжать говорить о США.

Когда я смотрю на Соединенные Штаты сегодня, я вижу страну, подобную Европе, — неуверенную и полную страха, хотя корни этого страха несколько иные. В отличие от европейцев, американцев не преследует призрак их прошлого. Америка всегда видела себя в будущем, а не в настоящем, скорее как проект, чем как продукт истории. Нынешний кризис американской идентичности формулируется в трех ключевых вопросах. Потеряли ли мы нашу душу — иначе говоря, наше этическое превосходство? Потеряли ли мы нашу цель — иначе говоря, наше чувство особой национальной миссии? И, наконец, потеряли ли мы наше место в мире, то есть приходим ли мы в упадок? (Последний вопрос, разумеется, классический, и Пол Кеннеди, историк из Йельского университета, задавал его еще в 1987 году**. Пожалуй, он просто лет на двадцать опередил свое время.)

* Поскольку в посвящении говорится, что Жюль Моизи был узником Освенцима, его, видимо, перевели из Освенцима на запад до освобождения Освенцима советскими войсками. — *Прим. перев.*

** См.: Paul Kennedy. *The Rise and Fall of the Great Powers*. — New York: Random House, 1987.

Иными словами, если европейцы спрашивают: «Кто мы?», американцы задаются вопросом «Что мы с собой сделали?». Они ищут ответы на вопросы: «Почему нас так ненавидят?» и «Почему наши бывшие друзья и союзники не любят нас и не доверяют нам?». «Неужели весь мир без всякой причины обернулся против нас?». «Неужели мы перестали быть страной, которой когда-то весь мир восхищался и которую любил?».

Задавая себе эти вопросы, американцы начинают ставить под сомнение универсализм и главенство своей модели и системы. То, что хорошо для Америки, может не быть таковым для остального мира. Кроме того, если американцы во многом перестали применять на практике проповедуемые ими ценности, откуда им знать, что для них благо?

Что мы с собой сделали?

Чтобы проанализировать культуру страха в Америке, не обязательно начинать с теракта 11 сентября 2001 года. Страх всегда присутствовал в американской истории, и самым ранним и явным его проявлением стала «охота на ведьм» в XVII веке. Покорение американской территории поселенцами сопровождалось насилием, направленным против коренных индейцев и поработанных африканцев, а также, разумеется, и против таких же пионеров-первопроходцев. Характерное для Соединенных Штатов по сей день свободное обращение огнестрельного оружия — это не только торжество индивидуализма и принципа самообороны, это еще и наследие дикого, полного насилия и опасности прошлого, в котором «человек человеку волк», а страх — естественная часть жизни.

В первой половине XX века подъем коммунизма, радикальных настроений, анархизма, терактов, забастовок, насилия и беспорядков в сфере труда привел к широкому распространению страха перед иммигрантами, в которых многие американцы видели угрозу социальной и политической стабильности нации. Пиком такой истерии борьбы с

чужаками стали «красная паника» 1919–1920 годов, а поколение спустя — мрачные перегибы периода маккартизма 1950-х.

Победное завершение Второй мировой войны не привело к исчезновению страха. Победа Рейгана в 1980 г. была, по крайней мере отчасти, результатом контрреволюционной реакции, направленной против нравственных и культурных «эксцессов» 1960-х, которые многим представлялись тогда временем безудержной сексуальной свободы, наркотиков и политических волнений. В сознании тех, кто голосовал за Рейгана, Америка к 1980 г. потеряла контроль над миром и своей судьбой так же, как американские родители потеряли контроль над своими взрослеющими детьми. С этим надо было что-то делать.

Этот диагноз сделал явным сорокалетнее сражение между двумя ветвями послевоенного поколения — между «поколением Вудстока», которое боролось против войны во Вьетнаме, и теми, кто воевал и поддерживал войну. Конфликт этот до сих пор остается в центре культурных и политических споров Америки. Раскол на два лагеря и страх национального упадка, который он порождает среди многих консерваторов, может объяснить то преимущественное положение, которое занимали во время последних президентских кампаний (хотя к 2008 г. это не относится) проблемы культуры и нравственности (право на аборт, права сексуальных меньшинств, школьная молитва) по сравнению с экономическими и политическими вопросами.

Так что американский страх не возник после терактов 11 сентября, они только сделали его более выпуклым и ярким благодаря значительности самого события: большого количества жертв и объектов нападения — настоящих символов Америки (сердце военной машины США и башни-близнецы, которые доминировали в пейзаже самого космополитического из городов мира, центра капитализма и многокультурности). Сыграл свою роль и момент, выбранный для их проведения. На пике глобального превосходства, всего через десятилетие после краха Советского Союза, Америка снова обнаружила свою уязвимость.

Ни разу после нападения британцев на Вашингтон во время войны 1812 г. враг не атаковал американскую землю (Пёрл-Харбор все-таки находится очень далеко от континентальной Америки).

Хотя теракты 11 сентября не создали американскую культуру страха, они придали ей новую глубину. С начала холодной войны американцы знали, что географическое положение уже не служит им защитой. Однако 11 сентября превратило абстрактные знания в трагическую, грубую реальность. И, как это водится в Америке, немедленно начались споры по поводу того, как Америка должна на это реагировать.

Многие, как и я, чувствовали себя ньюйоркцами после 11 сентября, и после терактов мы подвергали сомнению способность Америки адекватно оценивать ситуацию. Мы спрашиваем себя, не недооценивала ли Америка угрозу до 11 сентября и не переоценивает ли она ее после терактов? Не ошиблась ли она, начав войну в Ираке, и правильно ли она ее вела? Ведь это вызвало атмосферу подозрительности, губительную для образа и интересов Соединенных Штатов в мире.

Спор между безопасностью и свободой никогда не кончится. В своей «глобальной войне против террора» администрация Буша не смогла найти правильное равновесие. Тюрьма Гуантанамо, «превентивные задержания», а также жесткие методы допроса и намеренное унижение заключенных в тюрьме Абу-Грейб способствовали формированию гнетущего впечатления, что их приносят в жертву американским интересам. Именно они, как это ни странно, стали символом того, что пошло не так в Америке после 11 сентября.

В 2008 г. я сам убедился в резком изменении имиджа Соединенных Штатов, когда был в Берлине. В июне я смотрел в Берлинской опере на Унтер-ден-Линден «Фиделио» Бетховена, подлинный гимн свободе и любви. Постановка, однако, содержала явный и открытый политический подтекст. Заключенные (по сюжету это узники испанской политической тюрьмы) были одеты, как заключенные Гуанта-

намо. В художественном воображении режиссера спектакля Америка стала воплощением тирании.

Более чем за двадцать лет до этого я сопровождал на оперный спектакль в западной части тогда еще разделенного города Джона Макклоя, американского «проконсула» в Берлине, в первые годы после Второй мировой войны. Узнав о присутствии Макклоя на спектакле, зрители спонтанно приветствовали его длительными аплодисментами. Тогда Америка была символом свободы, освобождения и даже искупления для западных немцев. Как же произошла такая перемена и Америка из освободителя стала угнетателем?

(Правда, тот же город восторженно приветствовал кандидата в президенты Соединенных Штатов Барака Обаму в июне 2008 г., всего через месяц после мрачной постановки «Фиделио». Неужели все снова меняется?)

В своей весьма убедительной книге «Победа в справедливой войне: путь безопасности для Америки и мира» Филип Х. Гордон осуждает искушение приравнять войну против террора к третьей мировой войне и иллюзию относительно того, что в ней можно победить, как в обычной войне. А также представление о том, что между «победой и холокостом» нет нейтральной зоны, как утверждают два специалиста, близкие к администрации Буша, Дэвид Фрам и Ричард Перл, в своей книге «Конец зла: как победить в войне против террора»*.

Если видишь «зло» повсюду, возникает желание полностью закрыть страну от внешнего мира, в этом убеждается каждый иностранец, когда испытывает на себе бессильные попытки нового аппарата безопасности Америки предотвратить проникновение террористов. (Нельзя сказать, что у Европы иммунитет от таких эксцессов. Сразу же после 11 сентября и терактов в Мадриде и Лондоне в Европе опреде-

* См.: Philip Gordon. *Winning the Right War: The Path to Security for America and the World.* — New York: Times Books, 2007; David Frum and Richard Perle. *An End to Evil: How to Win the War on Terror.* — New York: Random House, 2004.

ленно лучше было не походить на бородатого мусульманина, особенно во время путешествия.)

Ободренная «большевиками демократии» (эту провокативную формулу придумал бывший лидер французских студентов Даниель Кон-Бендит для американских неоконсерваторов) администрация Буша увидела в терактах 11 сентября уникальную возможность собрать всех американцев под знаменами их мускулистого варианта интернационализма. Однако в новом подходе Соединенных Штатов сочетались и несоразмерное применение силы в ответ на нападение, и чересчур далеко идущие цели. Цель демократизации Ближнего Востока сама по себе весьма благородна, однако построить демократию на Ближнем Востоке, видя новый демократический Багдад в качестве ее центра — это чистой воды самообман.

Чтобы получить представление об этических самокопаниях миллионов американцев, достаточно обратиться к Голливуду, поскольку его фильмы всегда предлагают нечто вроде национальной программы психоанализа. В мощной финальной сцене фильма «В долине Эла» отец, чей сын был убит по возвращении домой из Ирака товарищами по оружию, которых война свела с ума, поднимает американский флаг вверх ногами как символ чрезвычайной ситуации и беды. Подспудно фильм говорит зрителю: «Моя страна сошла с ума. Пожалуйста, помогите нам!».

Увядание американской мечты

В отличие от Европы, Америка традиционно характеризовалась как страна надежды. Вся ее история, как и история государства Израиль, основана на почти мессианской надежде и убежденности в том, что это страна искупления, освобождения, новых начал. Именно этот исполненный надежды оптимизм помог скромной и идеалистической раннеамериканской республике обрести статус империи менее чем за два столетия. Тот же дух свободы служил основанием мягкой власти Америки и ее привлекательности для всего населения мира.

Разумеется, способность привлекать иммигрантов и соблазнять мир основывалась в равной степени и на привлекательности американской мечты, и на достижениях американской республики. Оптимизм, идеализм, индивидуализм, гибкость, культ превосходства, убежденность в собственной уникальности традиционно были ключевыми компонентами успеха для страны, видевшей себя с самого начала скорее как строительную площадку нового мира, чем как некую память или традицию, которую нужно защищать или преодолевать. В то время как Европа XX века была построена на идее преодоления истории, а ее особой силой и слабостью была способность вызывать в памяти собственное прошлое, Америка всегда думала только о будущем.

Голливудская мечта, которая и есть Америка, нашла свое точное выражение в фильме «Пелле-завоеватель» датского режиссера Билле Аугуста. Действие фильма происходит в Северной Европе конца XIX века, а завершается разлукой двух братьев, которые решили по-разному избавиться от полной нищеты. Один предпочитает социализм и стремится преобразовать Европу изнутри. Второй же уезжает из Европы в погоне за американской мечтой. Фильм словно говорит, что второй брат сделал правильный выбор. Подобное противопоставление работы мечте и то, в каком выгодном свете выставляется Америка, — главная тема большинства великих фильмов Голливуда: «Если ты можешь мечтать о чем-то, ты можешь сделать это». От «Шейна» и «Касабланки» до «Деловой девушки» и «Нормы Рей» — везде в американском кино и в американском образе жизни возмечливается сила отдельной личности.

Помнится, я находился в Вашингтоне накануне военной интервенции США в Косово. Один из ключевых создателей американской политики в государственном департаменте сказал мне тогда, что «его друзьям в Калифорнии не нравится, как людей в Европе заставляют садиться на поезд»*. Было

* Он, видимо, имел в виду сцену погрузки евреев в вагоны для отправки в Трелинку. — *Прим. перев.*

бы, конечно, чересчур прийти к заключению о том, что американской военной интервенции мы обязаны популярности эпического фильма «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, однако он определенно сыграл некоторую роль в обеспечении общественной поддержки подобных действий.

Однако теперь некоторые американцы начинают сомневаться в уникальной ценности своего индивидуализма. Недавно в редакционной статье о Китае Дэвид Брукс задал уместный вопрос: что будет, если «коллективистское общество поднимет экономику и начнет соперничать с Западом?». Он приходит к выводу, что «подъем Китая — это не только экономическое событие. Это также культурное событие. Идеал гармоничного коллектива может оказаться таким же привлекательным, как и идеал американской мечты»*.

Никто не способствовал усилению сомнений в собственной правоте у американцев больше, чем сами американцы. Давайте сравним хотя бы наше прошлое и будущее. День «Д», день открытия второго фронта в Европе (6 июня 1944 г.), символизирует высшее достижение американского идеализма, воодушевление и героизм. Монумент у входа на гигантское кладбище Кольвилль в Нормандии у Омаха-бич гласит: «Этот берег сражения, врата свободы, навсегда освящен идеалами наших славных соотечественников».

Достижения последующих войн Америки были не столь яркими и решительными. В Корее американцы увязли, а вьетнамская война стала национальной трагедией и закончилась политической катастрофой для Соединенных Штатов. Повторится ли когда-нибудь еще тот прекрасный для Америки момент переживания победы?

По сравнению с образами исторической памяти Второй мировой войны теперешняя война в Ираке представляется еще более мрачной, чем корейская или вьетнамская. И последствия этой войны, скорее всего, будут не похожи на последствия Второй мировой, поскольку Ирак никогда не станет аналогом Германии и Японии 1945 года. Эти две

* David Brooks. Harmony and the Dream. // *New York Times*, 11 августа 2008.

страны стремились перенять демократические формы жизни у Соединенных Штатов, чтобы, преодолев собственную недавнюю историю и погрузившись в иную культуру, возродиться заново. Ираку не свойственна ни одна из этих положительных черт.

Да и в основе своей Америка 2003 года не имела почти ничего общего с Америкой 1944-го. Молодые по большей части солдаты, высадившиеся в Нормандии, знали, за что они сражаются, и были готовы пожертвовать жизнью за дело, которое было для них понятным, в которое они верили. Их поддерживал политический и военный истеблишмент, которому они доверяли. Они верили в то, что командиры приведут их к победе, и что их родина делает все, что может, чтобы они воевали в лучших условиях. Разве сегодня дела обстоят так? Разве у американских солдат имеется верное управление, нужное снаряжение, боевой дух? Рассказы об Ираке по циничности, описаниям неразберихи и промахов больше похожи на истории времен Вьетнама, чем на героические саги Второй мировой войны. Более того, сегодня армия США — это профессиональные части, укомплектованные в основном бедными американцами, которые пошли служить, чтобы получить хоть какую-то работу, и воюют они бок о бок с высокооплачиваемыми частными контрактниками, которые пришли в Ирак ради денег. Война всегда была делом грязным, однако солдаты Второй мировой войны опирались на твердую почву идеалов, которые трудно найти в сегодняшней американской армии.

Потеряла ли Америка, страна надежды и мечты, свое ощущение уникальной миссии в мире и не превратилась ли она, подобно Европе, в страну страха?

Америка в упадке

Не напоминает ли Америка начала XXI века Британскую империю начала XX-го или Римскую эпохи разложения?

Американцы давно обсуждают проблему упадка. Успех последней книги Фарида Закарии «Послеамериканский

мир» показывает, насколько своевременна ее тема*. Я в основном разделяю утешительный тезис Закарии относительно того, что Америка выживет при «подъеме остальных», где под остальными понимается, в сущности, Азия. Динамизм Америки, ее гибкость, приверженность культуре превосходства сохраняют свою силу, а способность страны снова встать на ноги после экономических и социальных бед, скорее всего, выше, чем у Европы.

И все же реальность упадка Америки постепенно закрадывается в наше сознание, принимая разные формы: физическую форму эпидемии избыточного веса среди населения; бюджетную форму давно растущего долга; состояние американской инфраструктуры, начиная с мостов и кончая железными дорогами, часто больше напоминает развивающиеся страны Юга, чем ведущую страну мира; недостаток желания у военных США участвовать в авантюрах за рубежом; рост наркомании, насилия, бесцельного существования среди молодежи; неконтролируемые финансовые рынки, которые, в конце концов, рухнули осенью 2008 г., угрожая увлечь за собой всю мировую экономику; и прежде всего с трудом функционирующая американская политика с необузданной экспансией власти и чрезмерными затратами на избирательные кампании.

В начале XXI века с падением рынка долговых обязательств и рынка ценных бумаг, снижением показателей экономического роста до европейского уровня американцы начинают опасаться экономического упадка, как и европейцы. Как и европейцы, они боятся сокращения рабочих мест и завладения «собственностью» компаниями из Китая и других стран. Отмечается отрицательная реакция на глобализацию и стремление вернуться к протекционистским мерам, еще более усиливаемым обеспокоенностью состоянием экологии.

С точки зрения Европы, Америка представляется страной с чрезмерным контролем на границах и недостаточным

* См.: Fareed Zakaria. The Post-American World. — New York: WW Norton, 2008.

внутри самой страны. Этот недостаточный контроль проявляется не только в безуспешных мерах регулирования финансовых рынков. Он также обнаруживается в слабой системе регулирования социального поведения и смягчения худших последствий безудержного индивидуализма. Взять, к примеру, настойчивую защиту права носить оружие, что приводит к доступности огнестрельного оружия, дамкловым мечом висящим над головами множества невинных американцев, и к учащению эпизодов со стрельбой в средних школах Америки, в колледжах и университетах. Разве есть какая-либо иная страна в мире, где учителям разрешено, где им даже рекомендуется приходить на занятия в средней школе с огнестрельным оружием, как в Техасе? Европейцев беспокоит то, что этот недостаток контроля начинает распространяться на Европу как обезкураживающая разновидность американизации, включающая насилие в молодежной среде и войны между молодежными бандами, наподобие тех, что разворачиваются во множестве американских городов, и рост злоупотребления алкоголем.

Исчезли ли чувства и реальности более ранней, исполненной надежды Америки в сегодняшних Соединенных Штатах, или же это просто период временного отклонения от норм?

Поводы для оптимизма остаются, и основаны они не столько на потенциале перемен, которые воплощает Барак Обама, сколько на определенных фундаментальных ценностях, с давних пор характеризующих народ Соединенных Штатов. Америка, в самой своей сущности являющаяся нацией иммигрантов, возможно, найдет новые силы и преодолет страхи благодаря ежегодному притоку миллионов новых граждан. Америка с гордостью считает себя плавильным котлом, в котором успешно интегрируются все народы мира. Во время Второй мировой войны, несмотря на сегрегацию и изоляцию в лагерях большинства американцев японского происхождения, многие из них честно служили в особых подразделениях армии США. И сегодня эта традиция сохраняется. Достаточно сравнить в основном успеш-

ную интеграцию испаноязычных американцев с трудностями, которые испытывают сообщества мусульман и чернокожих в Европе. Несмотря на теракты 11 сентября, сообщество американских мусульман по-прежнему процветает экономически, они ощущают и ведут себя как граждане Америки и преуспели гораздо больше, чем их европейские единоверцы, в интеграции в жизнь Европы.

Самые ответственные лидеры США признают ценность этих традиций. Ключевые политики обеих партий, в том числе президент Джордж Буш и сенатор Эдвард Кеннеди, продолжают разделять убеждение, что иммигранты — это благо для Соединенных Штатов, что «новички приносят с собой жизненную энергию, а открытость и оптимизм имеют решающее значение для национального характера», как пишет Тамар Джекоби в журнале «Foreign Affairs»*. Когда думающие американцы полагают, что единственным возможным средством от нелегальной иммиграции являются более щедрые квоты в сочетании с более эффективным соблюдением законности, они внушают больше доверия, чем некоторые европейцы, например Николя Саркози во Франции, так и не сумевший найти равновесие между великодушием и контролем.

И все же не все так здорово у американских иммигрантов. За последние восемь лет резко снизилось количество виз, выдаваемых студентам, а контроль над «иностранцами» резко усилился. Америка повредит собственному будущему, если перестанет быть лучшим местом для иммиграции.

Возможности новой президентской администрации изменить эмоциональный пейзаж страны легко переоценить. Каким бы умным, компетентным, исполненным вдохновения ни был президент, существуют определенные границы того, чего глава Белого дома может достигнуть за 4 или 8 лет. Однако, если президент Обама в действитель-

* См.: Tamar Jacoby. Immigration Nation. // *Foreign Affairs* (ноябрь — декабрь 2006).

ности привержен восстановлению образа Америки как страны возможностей, на его стороне будет следующий фактор: он не противостоит, а следует характеру своей нации, стремясь не переделать, а восстановить традиционный взгляд страны на саму себя, в котором убежденность в значимости этических ценностей, инстинктивная вера в умеренность и здоровая доза реализма соединяются в спокойном, здоровом чувстве оптимизма. Восстановление подобного образа, если оно произойдет, будет приветствоваться во всем мире.

Страх разделяет Запад

Страх не только вредит Европе и Соединенным Штатам, он также портит отношения между ними. Катастрофа 11 сентября 2001 г. объединила людей по обе стороны Атлантики. Однако, за исключением сотрудничества по некоторым ключевым направлениям (например, между полицейской и правоохранительной системами), ощущение общей цели сохранялось недолго. 11 сентября не объединило Запад навсегда, оно скорее выявило его глубокое разделение. А стиль и способы ведения внешней политики президента Буша только расширили пропасть, первые признаки которой появились после краха советской империи.

Когда холодная война подошла к концу, Александр Яковлев, ближайший помощник президента Горбачева, адресовал Западу пророческое предостережение: «Мы делаем с вами нечто ужасное; мы исчезнем для вас как угроза. Тот клей, который держал ваш союз, исчезнет». Очевидное ослабление общих интересов после окончания холодной войны совпало с усилением различий в эмоциональном состоянии, поскольку, если причина страха не очевидна, он скорее разделяет, чем объединяет. Во время холодной войны внешняя угроза была четко определена, и, благодаря ядерному сдерживанию, ее удавалось обуздать. (Так, по крайней мере, это воспринималось; реальность была, возможно, гораздо более неясной и опасной, чем это

тогда представлялось.) Сегодняшняя реальность более запутанна. Какова главная угроза? Что это — возможный экономический крах, оружие массового поражения, распространение политического хаоса в разваливающихся государствах, глобальное потепление или энергетический кризис? Сложность проблем не добавляет ясности в стратегии и уж наверняка не способствует эмоциональной определенности.

Разлад внутри стран трансатлантического союза не возник сразу, он развивался постепенно, сначала медленно, в 1990-е, а потом резко ускорился в первые годы XXI века. Он предшествовал приходу к власти президента Джорджа Буша, войне в Ираке и тем глубоким разногласиям, которые она вызвала. Чтобы коротко охарактеризовать этот разлом, можно сказать, что пренебрежение, которое Америка испытывала к Европе, росло, в то время как европейцы почувствовали, что их потребность в Америке ослабла. В то же время Америка, судя по всему, стала расходиться с Европой в плане фундаментальных ценностей. Казалось, будто Европа сказала Америке: «Теперь я могу жить без твоей защиты». И, что гораздо хуже, «я тебя больше не признаю». (Разумеется, таково было мнение скорее «старой Европы», чем «новой» — стран бывшего советского блока, которые больше напоминают Европу 1970-х, чем 1990-х годов.)

Одновременно росло разочарование американцев в Европе. Война на Балканах и первоначальные неудачи европейцев на полуострове подтвердили глубокую настороженность многих представителей американской элиты. Я помню свой спор в Страсбурге с ключевым членом Национального совета безопасности в самом начале 1990-х, когда Югославия еще была единой. Тот высокий представитель администрации президента Джорджа Буша говорил о Европе с явным пренебрежением: «Европе нельзя доверять. Оставьте ее в покое. Сначала окажется, что она разделена на части и бессильна, потом, что ей грозит гибель, а американцам снова придется вмешаться, чтобы спасти ее от самой себя и собрать распавшиеся куски».

Неверие Америки в способность Европы к совместным действиям, усиленное первыми годами войны на Балканах, вызвало ответную реакцию в виде стремительно растущего отчуждения Европы от США. В 1960-е и 1980-е годы, когда европейцы ходили на демонстрации против политики Соединенных Штатов, они отвергали военные действия Вашингтона во Вьетнаме или размещения ракет средней дальности в Европе. Антиамериканские демонстрации 1990-х были направлены не столько против того, что Америка делала, а против того, чем она стала: культурным болотом, страной, где царит смертная казнь, мощным, но негуманным и, как говорили некоторые, нецивилизованным уголком Запада.

Такое восприятие Америки не подавляло существовавшего в то же время увлечения Соединенными Штатами, растущего в странах наподобие Франции. Я до сих пор помню разворот во влиятельной французской воскресной газете «Le Journal du Dimanche». На правой полосе разворота был рассказ молодой французской пары, живущей в Лос-Анджелесе, уехавшей в «страну мечты и возможностей», в царство «новой экономики». На левой полосе было помещено яростное разоблачение американского капитализма одним из ведущих антиглобалистов. Двойное видение говорило само за себя. Америка, как зеркало, отражала и мечты, и кошмары Франции и, говоря более широко, всей Европы.

Для европейцев после 11 сентября страх в восприятии Соединенных Штатов пришел на смену надежде. Европа и Америка объединились против угрозы терроризма, однако их разногласия по поводу способа борьбы с врагом оказались больше самой угрозы. Для Вашингтона европейцы стали «предателями», когда отказались поддержать выбор руководства США. Для европейцев Америка сама стала такой же угрозой стабильности в мире, как и террористы, поскольку «чрезмерная реакция» Вашингтона прокладывала дорогу бессмысленному и потенциально смертельно опасному «столкновению цивилизаций». Стереотипы по обе стороны Атлантики (американцы все ковбои и гангсте-

ры, европейцы — трусы и декаденты) подпитывались невежеством и усиливающейся нетерпимостью. Однако, если в основе предубеждения Европы в отношении Америки лежала страсть, осуждение слабостей Европы Америкой сопровождалось растущим равнодушием.

В действительности отношения обеих сторон были глубоко противоречивы. Вашингтон говорил о важности таких западных ценностей, как демократия и права человека, даже если сам нарушал эти принципы и не скрывал своего презрения к «младшему партнеру», Европе, где эти самые ценности зародились. А Европу, хотя она и рассчитывала на Америку в обеспечении стабильности и защиты континента, явно радовало ослабление Соединенных Штатов и ухудшение имиджа страны в мире, что абсолютно лишено смысла, поскольку Европа едва ли готова взять на себя большую роль в мире и принять соответствующее финансовое бремя.

Несмотря на внутреннюю противоречивость обеих позиций, пропасть между прежними партнерами продолжала расти. Дерзкая критика США, давно высказываемая Францией, теперь находила поддержку в большинстве европейских и мировых столиц. (Сегодня, при президенте Николя Саркози, между Парижем и Вашингтоном сложились новые отношения. Однако французы с меньшим энтузиазмом, чем их президент, относятся к Америке и находятся в тревожном ожидании результатов после избрания нового президента США, которые могли бы изменить их мнение об Америке.) Только в немусульманских странах Азии популярность США оставалась высокой. Если после 11 сентября американцы поначалу вставали утром с вопросом: «Почему наши враги так нас ненавидят?», сегодня им нужно спрашивать себя: «Почему мы стали так непопулярны даже среди наших друзей?».

Некоторые могут ответить на этот вопрос, указав на то, что в стремлении добиться мирового превосходства Соединенные Штаты «изменили обещаниям Америки» (отсылка к подзаголовку последней книги Тони Смита «Сделка с дьяволом: претензия Вашингтона на мировое пре-

восходство и измена Америки обещаниям»^{*}). В этом есть доля истины. Величайшим успехом Аль-Каиды стало то, что она заставила Америку при президенте Буше предать собственные фундаментальные ценности.

Однако я ситуацию выразил бы несколько иначе. Переходя от культуры надежды к культуре страха, Америка потеряла свою естественную привлекательность в мире. Джон Фицджеральд Кеннеди, несмотря на все свои недостатки, заставил весь мир мечтать. Америка Джорджа Буша скорее пугала мир, даже если страх этот частично был чрезмерным и неоправданным.

«Вера американцев в наши ценности, универсальные ценности, должна служить мостом, соединяющим нас с миром», — пишет Анн-Мари Слотер в своей книге «Что есть Америка: сохранение веры в наши ценности в опасном мире»^{**}. Это по-прежнему может быть справедливо, несмотря на беспокойство, царящее сегодня в западной мысли. Ни отчуждение между Америкой и остальным миром, ни слабость Европы не будут губительными. Запад нуждается в большем чувстве равновесия, в том числе в более сдержанной Америке и более амбициозной Европе; Америка должна меньше стремиться к овладению миром и больше — к восстановлению самой себя, сосредоточиваясь на образовании, инфраструктуре и социальных благах.

В открытом, взаимозависимом мире именно возрождение американской мечты — широкие возможности для интеграции других и функция воплощения надежды — составляют привлекательный образ Америки для остального мира и в особенности для Европы.

Наибольшая ответственность лежит на сильнейшем из двух партнеров, на Америке. Если Западу суждено снова

^{*} См.: Tony Smith. *A Pact with the Devil: Washington's Bid for World Supremacy and the Betrayal of the American Promise*. — New York: Routledge, 2007.

^{**} См.: Anne-Marie Slaughter. *The Idea That Is America: Keeping Faith with Our Values in a Dangerous World*. — New York: Basic Books, 2007.

обрести культуру надежды, то это случится, если Соединенным Штатам наконец удастся найти лидера, который сумеет проложить Америке и ее прежним мечтам и надеждам дорогу в мир XXI века.

Одно дело, если Запад потеряет монополию на надежду, что, вероятно, неизбежно, но совсем другое — если он превратится в новый центр страха. Пока такая перспектива не фатальна, однако без позитивных изменений политического курса она вполне вероятна.

Глава пятая

Трудные случаи

Хотя в картине современного мира, разумеется, гораздо больше эмоциональных цветов и их оттенков, чем те, о которых я упоминал, надеюсь, мне удалось показать, что Азию в целом сегодня характеризует прежде всего надежда, араб-исламский мир — унижение, а Запад — страх.

И все же есть несколько чрезвычайно важных стран, на которые не распространяется эта простая трехчастная классификация, поскольку в них в равной степени или, по крайней мере, в значительной пропорции присутствуют три названные эмоции. И существуют также целые регионы мира, включая континенты, которые еще труднее подвести под простую категорию. В этой главе я сосредоточу внимание на ряде сложных положений, которые выходят за рамки предыдущего описания, и в то же время могут играть значительную роль в геополитическом пространстве XXI века.

Российская смесь (и пара слов об Иране)

Россия постсоветского времени — это определенно один из самых интересных и нетипичных случаев. Эта страна испытывает незаслуженную долю страха, унижения и надежды, причем эти эмоции сливаются в мощный поток чувств и побуждений.

Я живо помню Москву зимой 1989 г., когда сидел перед телевизором со своими российскими друзьями и смотрел новости о событиях в Румынии. Революция (или военный переворот?) закончилась трагически, что мрачно контрастировало с относительно мирным переходом от коммунизма к

капитализму в Польше и в других странах Центральной и Восточной Европы. Когда на экране телевизора появились кадры расстрела Николае Чаушеску и его жены, которые жестоко правили страной более двадцати лет, один из моих русских друзей произнес: «Думаю, в России переход будет скорее румынского типа, чем польского. Прольется кровь. Так происходит у нас в России».

Его слова не подтвердились — до сих пор, по крайней мере. Такое настроение, которое я называю мрачным нарциссизмом, запомнилось мне, поскольку я много раз сталкивался с ним с тех пор.

Почему русские, несмотря на несомненный, пусть даже скромный прогресс, по крайней мере в экономике, с маниакальным упорством совершают трагические ошибки? Какое сочетание географических, исторических, религиозных и культурных факторов наполняет их одновременно гордостью и стыдом?

Первое объяснение может основываться на отсутствии у русских четких представлений о границах России. Где кончается их империя? В глубине души они еще не расстались с Украиной или Белоруссией. Такое сложное переплетение эмоций можно объяснить ходом национальной истории и парадоксальным чувством влечения к Западу, к которому они естественным образом не принадлежат, и его отторжения от него. Споры между «западниками» и «славянофилами» (последние убеждены, что «душа» и судьба России находятся на Востоке, а не на рациональном Западе) продолжают по сей день.

Когда Путин первый раз приехал в Париж с официальным визитом в 2000 г. как новый президент России, мне удалось поговорить с ним на обеде в его честь, организованном Французским институтом международных отношений. Не имея представления, о чем можно спрашивать Путина, чтобы одновременно и ему, и окружающим было интересно услышать его ответ, я решил спросить, портреты каких лидеров прошлого и настоящего висят в его кабинете. Его ответ был настолько быстрым, что я понял: он уже задумывался

над этим. «Три, — сказал он. — Петра Великого, Пушкина и де Голля». Первый, разумеется, был отцом современной российской империи и государства, второй — воплощением русской культуры, а третий руководил восстановлением Франции после Второй мировой и был у истоков нового сознания значимости страны на мировой арене. Выбор де Голля в качестве знаковой фигуры, по моему мнению, многое объясняет относительно взглядов Путина на стоящие перед ним, лидером современной России, задачи. Де Голль тоже ощущал себя униженным высокомерием Америки во время и сразу после Второй мировой войны, а также тем, что руководство Западом автоматически должно было оказаться у молодых, мощных и богатых Соединенных Штатов Америки.

Из трех названных мною эмоций, борющихся в российском сознании, унижение, пожалуй, понять легче всего. С 1989 по 1991 год, после падения Берлинской стены и до распада Советского Союза, Россия пережила примерно то же самое, что Франция в результате революции 1789 г. и затем потери колониальной империи, но произошло это не на протяжении столетий.

Во-первых, россияне пережили почти полную смену нравственных норм и ценностей. То, что раньше они считали совершенно неприемлемым — капитализм, либерализм, демократия, вдруг было объявлено правильным, а социализм и коммунизм объявили ошибочным. Во-вторых, Россия испытала резкую и шокирующую потерю международного статуса. Одна из двух сверхдержав планеты (хотя к 1980 г. даже русские знали, что их страна была слабее), Россия стала, по крайней мере в ее собственных глазах, всего лишь картой в руках дипломатов США.

И что еще хуже, и государство, и империя, и армия — три ключевых составляющих национальной идентичности — рухнули одновременно. Причем, в отличие от Франции и Великобритании, Россия потеряла империю, которую не отделяли от родины океаны, которая располагалась прямо за порогом и буквально за ночь превратилась из повода для гордости в источник тревоги. Обретенная независимость и

дипломатическая и политическая свобода новых стран, от Грузии и Украины и до прибалтийских республик, стали болезненным свидетельством распада империи. Когда несколько лет спустя бывшие советские республики захотели вступить в НАТО, это только укрепило чувство унижения в русских.

В России унижение сопровождалось страхом, усугубленным к тому же ксенофобскими традициями страны, которыми манипулируют власти ради достижения политических целей. Российское руководство может считать войну в Чечне победой. В Грозном на руинах и страданиях людей действительно восстановлен какой-то порядок. Однако победа оказалась пирровой. Конфликт в Чечне обнажил и усугубил беды России: распространение коррупции, в том числе и в вооруженных силах; необузданное насилие, растекающееся из Чечни по всей стране; ошибочные приоритеты руководства страны, которое стремится усиливать внешнюю мощь государства вместо улучшения благосостояния граждан; и в итоге неспособность стать «нормальной», цивилизованной страной, где преобладает верховенство права.

Однако в сегодняшней России унижение и страх существуют, на мой взгляд, наряду с очевидным возрождением надежды в наиболее материалистическом ее проявлении. Если большинство россиян чувствует себя лучше, чем пять или десять лет назад, это происходит потому, что Россия выглядит лучше, потому что условия жизни устойчиво улучшаются, потому что рост экономики составлял примерно 7% в год. И хотя это не имеет ничего общего с воодушевлением и идеологическим подъемом первых лет после революции 1917 года, сегодняшняя надежда России по иронии судьбы марксистская в своей основе, поскольку движима она в основном экономическими факторами, наряду с усилением националистических настроений и чувством гордости, проявляющимся, в частности, в спорте — от футбола до Олимпийских игр.

А если восстановление экономики и сопровождалось давлением на гражданское общество и возвращением к авто-

кратии, что с того? Чувство собственного достоинства и национальная гордость россиян никогда не основывались на способности отстаивать демократию западного типа. Эпоха Горбачева и времена Ельцина, когда возникло какое-то подобие гражданского общества в сочетании с слабым стремлением к демократии, большинством россиян воспринимается сегодня скорее как период унижения. Демократия, скорее, даже была признаком слабости в восприятии населения, потерявшего свою империю и международный статус и испытывавшего из-за жалкого физического состояния своего лидера и явного отсутствия у него достоинства каждодневное унижение.

Путин все это понимал. Несомненное ощущение прогресса и даже надежды, которое он возродил, а также ощущение восстановленного статуса страны, разумеется, произошло не без помощи возросших цен на газ и нефть, которые, возможно, сохранятся в обозримом будущем. Но что станет с надеждой в России, когда баррель нефти будет стоить ближе к \$40, чем к \$150? Тем не менее, несмотря на колебания цен на нефть, природные ресурсы России неопределимы, и большинство россиян в восторге от того, что «Россия вернулась». Им все равно, что это «возвращение» может увеличить пропасть, разделяющую Россию и Запад (по крайней мере, в смысле политической культуры), и сблизить Россию с Азией (что означает дрейф к «восточной деспотии» и отход от демократии).

И все же тенденция к авторитарному правлению не означает, что можно относиться как к простому фарсу к результатам мартовских выборов 2008 г., после которых Медведев воцарился как преемник Путина. Это не были демократические выборы в западном смысле — иначе говоря, они не были отмечены свободной конкуренцией и равным доступом к выборным урнам и к средствам массовой информации. Однако их результат соответствовал желаниям большинства россиян. В своих первых публичных заявлениях после выборов Медведев подчеркнул необходимость верховенства закона в России, выражая обнадежи-

вающие намерения, которые, правда, остается перевести в плоскость реальности, но этот сигнал тем не менее весьма значим.

В этой связи есть соблазн провести параллель между Россией и другой сильной региональной державой, Ираном.

И Россия, и Иран знают, что ключевым для обеспечения их влияния и силы является богатство энергетических ресурсов. Обе страны чувствуют себя уверенно — справедливо или нет, другой вопрос, — полагая, что время работает на них. Обе страны испытали унижение (устроенное американцами свержение премьер-министра Мосаддыка в 1953 г. — иранский аналог распада Советского Союза), и обе используют его как оружие пропаганды, источник гнева и клич к объединению. Послание руководства обеих стран выглядит как: «Вам больше не удастся обмануть нас и унижить, как это было вчера». Во время войны с Грузией летом 2008 г. Россия фактически сказала Западу: «Вы боитесь меня, следовательно, я существую».

Однако между Россией и Ираном есть одно серьезное отличие. Россия — стареющая страна, в которой мужское население сокращается из-за злоупотребления алкоголем и плохой системы здравоохранения, и такая демографическая ситуация полностью контрастирует с молодым, исполненным предприимчивости и надежды духом «новых русских» — лидеров бизнеса, характеризовавшим их, по крайней мере, до экономического кризиса 2008 года.

Иран же, наоборот, молодая страна, где стремление к успеху, энергия не имеют ничего общего с анахронической природой «бородатых святош», которые ею правят. В этом контексте эксцентричная навязчивая идея правящей элиты Ирана, в том числе и президента Ахмадинежада с его провозглашением скорого краха «сионистского образования», представляется одновременно и попыткой привлечь на свою сторону простых арабов, и отчаянным усилием скрыть нарастающую политическую слабость и непопулярность правительства.

Израиль: от надежды к страху

Государство Израиль — это тоже стратегически важная страна, которую непросто отнести к какой-нибудь одной эмоциональной категории. Как и в России, здесь сочетаются страх, надежда и унижение. Может показаться странным, что большая, старая империя и маленькое молодое государство могут испытывать аналогичные проблемы с идентичностью. У обеих стран трудные, неоднозначные отношения с Европой и обе испытывают сильное чувство уязвимости, основанное на ощущении, что их окружают враги, хотя обе страны и гордятся военным и экономическим превосходством в своих регионах.

В Израиле страх порождается действием нескольких факторов. Один из них демографический. Израильские евреи слишком малочисленны по сравнению с арабами, а темпы роста населения означают, что без скорого перекраивания границ Израилю суждено стать страной с арабским большинством населения. В более широком смысле, если сравнить количество евреев и мусульман на планете, о чем израильские евреи, несомненно, задумываются, нельзя не признать их крошечной, уязвимой группкой посреди огромной и стремительно растущей миллиардной массы, разбросанной по множеству стран, большинство которых сейчас или потенциально враждебны Израилю.

Прибавьте демографический фактор к насилию на местах и региональным стратегическим угрозам, перед которыми стоит Израиль, и страхи израильтян становятся вполне объяснимыми. Вторая интифада была фундаментальной ошибкой палестинцев; она кончилась для них сокрушительным поражением. Однако потом террористам-самоубийцам удалось поселить в израильтянах страх, почти одолев своими нечеловеческими жертвами техническое превосходство противника и поразив мир готовностью превратить собственные тела в сверхточное оружие. Стена безопасности, построенная израильтянами для разделения от угрожающего Другого, является физическим олицетворением их оправданного чувства страха.

Иран также вызывает страх своей поддержкой Хезболлы и Хамаса, сочетанием слов и действий руководства страны, словесными провокациями и ядерными амбициями. Разве можно позволить стране, пронизанной идеологией превосходства и враждебностью к Израилю, получить доступ к абсолютному оружию? Для страны, которая в духовном смысле и, в какой-то степени, в физическом состоит из выживших в холокосте и их потомков, это угроза не только безопасности страны.

Однако надежда в Израиле также высока. Само его создание можно считать триумфом надежды над логикой. «Верить в чудеса разумно», — говорил Давид Бен-Гурион, первый лидер Израиля. Сегодня невероятные достижения страны в бизнесе, технике, науке, литературе, искусстве усиливают чувство надежды. Гордость за эти достижения в какой-то степени ослабляет неудовлетворенность низким качеством своей политической элиты (из-за постоянных ошибок в принимаемых решениях болезненной палестинской проблемы) и, после неудачной войны в Ливане, — военным руководством. Существует мнение, что в Израиле все хорошо, кроме самого существенного, и в этой связи даже появляется соблазн говорить об «италианизации» Израиля, где общество крепко как никогда, а государство слабеет, скованное избирательной системой пропорционального голосования и более чем посредственным составом политических лидеров. Однако Италия часть Европейского союза, а Израиль — Ближнего Востока, и различия в их политическом и экономическом окружении очень велики.

Хотя большинство израильтян будут отрицать это, чувство унижения или, выражаясь более точно, недовольства также присутствует в израильской еврейской культуре, представляя собой постоянное препятствие на пути к успеху мирного процесса. Разумеется, постоянные нападения террористов, которых нельзя уничтожить или нейтрализовать, вызывают чувство бессилия и беспомощности, очень близкое к унижению. Однако эмоции, испытываемые израильтянами, нельзя объяснить только ближневосточной реальностью. Они являются также результатом еврей-

ской истории: подобно тому, как испытывавшие жестокое обращение дети часто жестоко обращаются со своими сверстниками, отношение израильтян к палестинцам, в котором сочетаются невежество, презрение и жестокость, можно объяснить шрамами недавнего прошлого еврейского народа. Чрезмерный груз истории и намеренный отказ от знания Другого — одно из самых взрывоопасных сочетаний эмоций.

Африка: между отчаянием и надеждой

В последние десятилетия Африка была жертвой международной маргинализации, усугубленной окончанием холодной войны, из-за чего весь континент сошел с игровой доски как объект соперничества сверхдержав. Недавняя вспышка этнического насилия там, где этого менее всего ожидали, в Кении, известной относительным благополучием и политической стабильностью, оказала глубокое негативное влияние на и без того плохой имидж континента на международной арене. Если массовые убийства происходят в такой стране, разве можно рассчитывать на надежду для остального континента? На эти мрачные обстоятельства накладывается и драма Зимбабве, которая по своему накалу с каждым месяцем все больше напоминает шекспировскую трагедию.

И все же, несмотря на господство мрачных настроений, усиленных склонностью СМИ выставлять напоказ плохие, а не хорошие новости, Африка выходит, пусть медленно, из глубокой ямы нищеты и коррупции, в которой она оказалась. Чуть больше поколения назад мы были свидетелями исторического зла колониализма, усугубленного неудачными попытками деколонизации, а затем применением западных моделей развития — марксистских или капиталистических. Сегодня обозреватели, которым небезразлична Африка, такие как Николас Кристоф из «Нью-Йорк Таймс», осмеливаются даже называть ее «землей надежды», имея в виду, что за бесконечным отчаянием в Африке можно раз-

глядеть позитивные перемены*. Однако, когда богатые становятся менее богатыми, как во время кризиса 2008–2009 годов, бедные обычно становятся еще беднее.

И все же основания для негативного взгляда на Африку в глубине своей неоднозначны. Иностранные инвесторы, привлеченные огромными энергоресурсами и уникальными запасами редких и ценных элементов, — индусы, бразильцы, американцы, и прежде всего китайцы, борющиеся за энергетические ресурсы, — снова открыли для себя Африку. А поскольку китайцы из всех иностранцев менее всего склонны учить «правилам управления» «отсталые» африканские режимы, находящиеся часто на стадии нравственного и финансового разложения, им проще иметь дело с китайцами. С обеих сторон главными мотивами остаются алчность и страх: китайцы боятся полного хаоса, который закроет доступ к уникальным, бесценным ресурсам Африки, а Африка боится потерять сговорчивого и выгодного покупателя.

Среди европейцев, особенно тех, чьи страны раньше обладали колониями в Африке, отношение к ней включает как реальную озабоченность будущим африканцев, так и смесь алчности и страха перед тем их количеством, которое может хлынуть в Европу из-за нищеты у себя дома. Средиземное море уже не «колыбель цивилизации», описанная французским историком Фернаном Бродемом, теперь оно больше напоминает озеро, где состоятельные люди всей планеты прогуливаются на своих яхтах и изредка замечают беженцев с другого берега, цепляющихся за свои утлые суденышки и с риском для жизни пытающихся достичь «европейского рая».

Новый план французского президента Николя Саркози относительно создания Средиземноморского союза (объединения всех членов Евросоюза и нескольких стран, не входящих в него, но расположенных на берегах Средизем-

* См.: Nicholas Kristof. Africa: Land of Hope. // *New York Times*, 5 июля 2007.

ного моря), по крайней мере, отчасти нацелен на решение растущей проблемы беженцев. Доводы просвещенных европейцев просты: нужно создать в Африке будущее для африканцев, если мы хотим, чтобы они в ней остались.

Разумеется, попытка европейцев реформировать Африку должна опираться на активное участие самих африканцев. Мысль о том, что Африка после сорока лет независимости будет «спасена» западным вмешательством, одновременно оскорбительна для африканцев и сомнительна для представителей Запада, которые хотят для Африки лучшей доли.

Одно из важнейших событий XX века — мирное рождение власти черного большинства в Южной Африке — стало выдающимся событием, созданным самими африканцами. Последнему белому президенту ЮАР Ф. В. де Клерку хватило интеллекта и смелости понять, пока еще не было поздно, что сохранение присутствия белого меньшинства в Южной Африке требует не только конца апартеида, но и передачи власти черному большинству. По счастью, его партнером в этом процессе оказался Нельсон Мандела — человек, которого справедливо называли одним из великих героев своего времени, вдохновленного не мстью, а примирением. (Если бы у палестинцев был свой Мандела, а не слабый и некомпетентный Арафат... и если бы Ицхак Рабин, израильский Деклерк, не был убит фанатиком...)

Сегодня Южная Африка — единая нация белых и черных, и это единство скреплено такими событиями в спорте, как победа национальной сборной на Кубке мира по регби в 1995 и 2007 г. и проведением чемпионата мира по футболу в 2010 году. Опыт Южной Африки — это урок для всего остального континента: международное сообщество может на него влиять, но оно не способно создать или навязать условия мира и развития.

Эти условия потребуют громадных перемен по всему континенту, включая и Южную Африку, где демократия стала жертвой роста насилия и коррупции. Проблемы, стоящие перед Африкой, известны: распространение ВИЧ/СПИДа (охватывающего 20% населения только в

Южной Африке); глубокая нищета, в которой увязли сотни миллионов; искусственные границы, унаследованные от колониального прошлого, ослабляющие чувство национального единства и порождающие постоянную угрозу распада по племенным или этническим рубежам. До сих пор Африка остается самым раздираемым войнами континентом на планете. От Дарфура в Судане до Сьерра-Леоне, от Конго до Берега Слоновой кости люди рассказывают ужасающие истории об убийствах и страданиях, в том числе о систематических изнасилованиях как средстве запугивания и унижения. И почти повсюду коррупция и некомпетентность правительств в сочетании с постоянным страхом перед преступностью и насилием принимаются за нормальные условия жизни.

И все же основания для надежды есть. В Африке появляется новое поколение лидеров: например, президент Поль Кагаме из Руанды, который видит себя (с некоторым преувеличением) африканским Ли Куаном Ю из Сингапура, или президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф, благожелательный деспот, готовые принимать решительные, но гуманные меры, чтобы привести свои страны в XXI век. Роль женщин становится тоже значительнее — символом этого процесса является Вангари Маатаи из Кении (правозащитник и борец за экологию, награжденная Нобелевской премией мира в 2004 году).

Существует также экономическая надежда. Все больше стран следует образцу Руанды, приветствуя иностранных инвесторов и следуя правилам рынка. Кроме Руанды, замечает Николас Кристоф в своей статье, «такие страны, как Мозамбик, Бенин, Танзания и Маврикий, также пытаются построить будущее скорее на основе развития торговли, чем на внешней помощи»*. Автор заканчивает статью подсказкой инвестору: «Покупайте недвижимость в Бенине и Руанде». Его рекомендация определенно звучит слишком смело, однако это показатель медленного изменения статуса

* Ibid., *New York Times*, 5 июля 2007.

Африки. Это континент, балансирующий между отчаянием и надеждой, и надежда появляется впервые за последние десятилетия*.

Если искусство способно влиять на жизнь, надежда, возможно, в конце концов победит. Одним из событий театрального сезона 2008 года в Лондоне стала южноафриканская версия «Волшебной флейты» Моцарта, сыгранная на традиционных африканских музыкальных инструментах. Это исполнение излучало такую радость и энергию, что их не могла вместить даже вселенская мощь музыки Моцарта — дух Африки взывал к жизни.

А годом раньше можно было присутствовать на парижской премьере «Бенту Вере», оперы из Сахеля. В финальной сцене оперы молодая мать, которая пересекла пустыню, чтобы родить своего ребенка в европейской колонии, попадает под машину на маршруте ралли Париж — Дакар. Смертельно раненная, она вступает в диалог с хором о том, должен ли ее ребенок вырасти в Европе или в Африке. В конце концов она останавливается на Африке.

Решение это, разумеется, символичное. Африканцам необходимо возвращать надежду у себя на родине, а не искать ее в других краях.

Латинская Америка: между демагогией и прогрессом

Положение на латиноамериканском континенте значительно отличается от африканского, хотя у обоих континентов много общего. В Латинской Америке меньше отчаяния, но и надежды, пожалуй, тоже меньше, за исключением Бразилии, настоящего великана своего континента. Бразилии нравится считать себя Китаем или Соединенными Штатами Латинской Америки — бразильцы убеждены, что их ближайший потенциальный соперник в борьбе за лидерство, Мексика, осталась

* См.: Richard Dowden. Africa: Altered States, Ordinary Miracles. — London: Portobello Books, 2008.

далеко позади. Страна бурлит, она полна энергии, динамики, оптимизма, но и она страдает от зол, характерных для всего континента.

Вспомним об эпидемии насилия. В 2005 г. — а это обычный год — в Бразилии в перестрелках погибло 40 000 человек, и 2000 из них в одном только Рио-де-Жанейро. Многие погибли от шальных пуль, просто оказавшись не в том месте и не в то время. Сочетание социального неравенства и динамичного экономического развития имеет сходство с Азией, однако масштаб распространения насилия придает неравенству в Бразилии особенно мрачную форму. Богатые кварталы Рио-де-Жанейро, окруженные печально известными фавелами (трущобами), напоминают крепости, защищенные прочными стенами, наемными охранниками и хорошо вооруженными жителями (которые разделяют отношение к огнестрельному оружию североамериканцев).

Тем не менее надежда остается доминирующим чувством в Бразилии. Даже режим президента Луиса Инасиу Лула да Силва, несмотря на его серьезные недостатки, в частности терпимость к коррупции, внушает доверие. К сожалению, о правительствах остальных стран континента этого не скажешь, за исключением Чили, сумевшей вернуться к прочным демократическим традициям после трагедии времен Пиночета. Сюда же относится Аргентина и даже Колумбия, в которой суровые меры президента Альваро Урибе по борьбе с революционным движением FARC, кажется, приносят свои плоды.

Создается впечатление, будто Южная Америка переживает исторические циклы. Когда военные режимы 1960-х гг. оказались неспособными справиться с экономическим кризисом, на смену им в 1980-е пришла демократия и гражданское правление. Сегодня Латинская Америка переживает всплеск популизма, связанный с появлением нового типа национальных лидеров, которые происходят из коренных индейцев, а не из потомков испанских колонизаторов, после десятилетия крайнего экономического либерализма, почти погубившего многие страны наподобие Аргентины.

Фигура Уго Чавеса в Венесуэле сменила кубинского президента Фиделя Кастро в качестве символа дестабилизирующего левацкого движения в Латинской Америке. Чавесу не хватает харизмы и мощи, присущих Кастро, — он словно служит иллюстрацией марксистского изречения: «История повторяется сначала как трагедия, потом как фарс», — но он стоит у руля нефтяного государства. У него есть то, чего у Кастро никогда не было: много денег, даже если их приток и уменьшился в последнее время. Скупая огромные долги таких стран, как Аргентина, Чавес в будущем, возможно, не только сможет получить огромную прибыль, но и расширить свое политическое влияние на континенте.

Подъем популизма в Латинской Америке вызван скорее унижением, чем надеждой. В то время как народы Индии в основном решили свои проблемы с бывшей колониальной державой, Великобританией, в Латинской Америке это далеко не так, поскольку отношения с гринго, североамериканцами, а также с Испанией, бывшей колониальной владычицей, остаются одновременно главенствующими и сложными.

Разумеется, Соединенные Штаты несут главную ответственность за подобное психологическое и политическое положение. США, похоже, до сих пор относятся к Латинской Америке как к собственному «заднему двору» (то есть свысока), забыв, что в свое время яростно осуждали такое отношение, когда речь заходила о европейских державах и их бывших африканских колониях. Хотя сегодня их вмешательство чаще всего имеет уже непрямой характер, США остаются одновременно жизненно важным фактором равновесия и ненавистным источником внешнего влияния в Латинской Америке.

Помимо унижения здесь присутствует также страх, но и он любопытным образом переплетается с противоположными эмоциями. Как и в Африке, в Латинской Америке много слабых государств, находящихся на грани банкротства. Картели наркоторговцев оспаривают монополию государства на законное применение насилия. В ряде стран, например

в Колумбии, гражданские войны растягиваются на десятилетия, хотя Богота, столица Колумбии, в настоящее время место более безопасное, чем большинство крупных бразильских городов. А по показателям экономического роста можно даже говорить сегодня о колумбийском экономическом чуде. Обладая мощными источниками доходов, нефтяные государства подобно Венесуэле ведут себя как региональные энергетические сверхдержавы, стремясь быть противвесом американскому и бразильскому влиянию на континенте, и опираясь при этом на недовольство популистски настроенного коренного индейского населения национальными элитами.

В начале XXI века судьба Африки и Латинской Америки еще не решена. Политики, представители делового мира, те, кто занимается проблемами развития человечества, не могут больше игнорировать эти два континента. Однако пока будущее планеты решается не там, да и вряд ли оно будет решаться на этих двух континентах в обозримом будущем.

Мир в 2025 году

Моя попытка опереться на эмоции для расшифровки положения в мире и анализа коллективного поведения наций может показаться ересью большинству политологов и специалистов по международным отношениям. Чтобы стимулировать критику, двинусь еще дальше в исторических фантазиях с целью пробудить гражданские рефлексии.

Мир, который я попытался анализировать, глядя сквозь призму эмоций, это мир, в котором мы живем, мир опасный и волнующий. А как с нашим будущим? В мире всякое может случиться, поскольку, если наилучший вариант развития событий маловероятен, худший также нельзя исключать. Мое послание в этой главе сводится к простому заключению: «Ваша судьба в ваших руках. Выбирайте ее сами!».

Помня об этом, попробуем рассмотреть, как будет выглядеть наш мир, если в нем начнет доминировать страх или же, напротив, победит надежда. Оба сценария развития, которые я собираюсь представить, выглядят, конечно, карикатурно. Реальность, скорее всего, находится где-то посередине.

Что касается негативного сценария: кассандры необходимы, поскольку они подают сигнал тревоги. Но опасно, когда такой сигнал воспитывает культуру страха. Это не входит в мои намерения. Надеюсь, читатель отнесется к моему сценарию, в котором страх одерживает победу, как к предостережению, показывающему, что произойдет, если мы совершим ошибку и позволим отрицательным эмоциям подавить наш рассудок.

Что касается сценария надежды, я мыслю достаточно реалистично и понимаю, что это просто мечта, и она не сможет материализоваться в той форме, которую я представ-

ляю. Однако и у мечты есть предназначение. Просвещенная мечта подсказывает направление, в котором мир может двигаться под руководством подходящих лидеров, вооруженных верными принципами и имеющих в своем распоряжении надлежащие институциональные механизмы, а также немного удачи. Такая мечта может побудить нас стараться изо всех сил и больше работать, чтобы мир стал лучше.

Побеждает страх

...Ноябрь 2025 года. В Тель-Авиве в мрачной и зловещей атмосфере Израиль отмечает тридцатую годовщину со дня убийства Ицхака Рабина. С началом четвертой интифады в 2018 г. проблема безопасности снова усугубилась не только в Израиле и Палестине, но и на всем Ближнем Востоке. Это привело к постепенному сокращению и еврейского, и арабского населения Израиля, поскольку те, кто мог найти себе другое место обитания, бежали от атмосферы насилия и гнетущих условий жизни в государстве, находящемся практически в состоянии войны.

К сожалению, Израиль — не единственное место, где крайняя озабоченность людей безопасностью сделала жизнь менее приятной. Во всем мире произошла в той или иной степени «израилизация» жизни. Культура страха стала практически всеобщей, в особенности после применения биологического оружия террористическими сетями в Сан-Франциско, Лондоне, Париже, Праге, Токио, Мумбаи и в нескольких других городах Азии и Европы во время гнусных атак «Белой смерти» 2019–2020 годов. После этих терактов, во время которых погибло около тридцати тысяч человек, большинство правительств ввело жесткие меры безопасности. Границы были закрыты, для ведения любой экономической деятельности требуются национальные паспорта, группы инакомыслящих (даже не прибегающих к насилию) запрещены, их лидеры арестованы, а повседневная жизнь протекает в теснине военных блок-

постов, обысков и прочих неудобных процедур, держащих миллионы людей в состоянии напряжения, отчаяния и тревоги.

В мире, разумеется, уже нет прежнего третейского судьи или миротворца, способного направлять или координировать международные усилия по борьбе с терроризмом. Организация Объединенных Наций и ее институты постепенно пришли в упадок после неудачных попыток реформировать самих себя. Учет множества мнений остался в прошлом, а с ним и надежда на мир единства и стабильности, основанный на консенсусе и верховенстве права.

Некоторые надеялись, что США будут способны заполнить вакуум лидерства в мире, возникший после отмирания международных институтов. К сожалению, несмотря на выборы демократического президента в 2008 г. и последующие попытки изменить политический курс нации у Соединенных Штатов не оказалось ни способностей, ни желания меняться. Истощенные разорительными войнами на Ближнем Востоке и опустошительным экономическим спадом 2008–2014 гг. в финансовом, военном и психологическом смысле Соединенные Штаты спрятались в неопротекционистской раковине. Страна вывела все войска из-за границы, что нанесло ей гораздо больше вреда, чем пользы, резко снизила свое участие в международной дипломатии и разрешении международных проблем. Изменение курса было закреплено в 2013 г., когда избрали нового президента, крайне правого консерватора, сторонника шовинистической и протекционистской политики, который объявил о резком сокращении вооруженных сил США, причем оставшихся после сокращения солдат он разместил исключительно вдоль серьезно укрепленных к тому времени границ с Мексикой и Канадой.

Оглядываясь назад, понимаешь, что отступление Америки было, пожалуй, неизбежным. Провалы на международной арене и экономические беды, следовавшие за финансовым крахом 2008 г., наполнили Америку разочарованием, ее граждане стали болезненно искать объяснений, где допущена ошибка, и даже подвергли сомнению свою

национальную идентичность. Видение упадка американской империи, представленное Полом Кеннеди в его книге 1987 г., опережало свое время. Оно стало реальностью к 2025 году. В результате ослабленная Америка уже не обладала ни твердой, ни мягкой властью страны, которая с 1941 г. казалась незаменимой в мире.

Другие западные державы также пострадали от психологического и эмоционального упадка. В Европе страх «балканизации», о котором многие говорили в 1990-е гг. во время распада Югославии, постепенно стал воплощаться в реальность. Трудно сказать, что именно спровоцировало драматичное разрушение идеала Европейского союза. Может быть, это была новая вспышка насилия на Балканах в 2015 г. из-за проблемы Косово, еще раз продемонстрировавшая бессилие Евросоюза. Возможно, мирное, но абсолютно неожиданное разделение Бельгии в 2010 г. или следовавшие за ним декларации независимости Шотландии, Уэльса и Каталонии. Каковы бы ни были конкретные причины, последствия совершенно очевидны. Необдуманно вызвав к жизни чувство национализма и стремление к экономическому самоопределению, европейские лидеры оказались неспособными контролировать высвобожденные ими силы. То, что первоначально казалось всего лишь победой британской версии Европы с образованием свободной децентрализованной федерации вместо единой державы, привело к окончательному поражению и почти полному роспуску Евросоюза.

В неумолимом процессе усиления разлада между Европейским союзом и его гражданами, предвестниками которого стало тройное «нет» на референдумах по конституционному договору во Франции, Голландии и Ирландии, институты Европы, и особенно Еврокомиссия, сыграли свою роль. Они оказались заложниками собственной позиции, их действия все меньше соответствовали чувствам и потребностям общества в мире, глубоко опустившемся на дно экономического спада. В результате национальные сообщества Европы все больше стали рассматривать Европу скорее как часть проблем, чем способ их решения.

Война еще не коснулась сердца «старой Европы», однако она постоянно угрожает периферии континента, начиная с Балкан и Кавказа и кончая Гибралтарским проливом. Европа опустилась до состояния некой *Magna Helvetia* (Великой Швейцарии), по-прежнему мирной и относительно процветающей, но лишенной молодой энергии (после того, как она заперла свои границы для иммигрантов, в которых остро нуждалась). Бессильный в военном смысле, эгоистичный, по большей части ненужный для развития регион стал музеем собственного прошлого, в котором господствуют страх и чувство опасности. Отказавшись от сколько-нибудь существенной стратегической и дипломатической роли на мировой арене, Европа перестала быть образцом для подражания или, точнее говоря, стала образцом бессилия.

Главным источником страха Европы стала густонаселенная и нестабильная Турция, ее соседка. Осознав, что Европа не хочет принять их в свой «христианский клуб», турки стали искать альтернативу. Разрываясь между мыслью о возвращении к некоей славной неооттоманской империи и искушением радикальной формы исламского правления, Турция оказалась на грани полного краха, став полноправным представителем Ближнего Востока, из которого на Европу распространяется зараза этнической и религиозной ненависти. Что же касается России, отношение к ней осталось тем же, что и во времена холодной войны: в ней видели угрозу. Украина и Грузия формально остаются независимыми (в отличие от Белоруссии, которая снова вошла в состав Российской империи), однако декреты марионеточных правительств в Киеве и Тбилиси пишутся Москвой.

И все же судьбе Европы можно позавидовать, если сравнить ее с судьбой других континентов.

В начале XXI века Азия была континентом надежды. Теперь она возвращается к своему состоянию 1950-х и 1960-х годов. Теперь это континент войны.

Процесс перемен был безответственно запущен развязанной Китаем войной с Тайванем в 2014 году. Поводом для нее послужили внутренние факторы. Резкая остановка эконо-

мического роста Китая в сочетании с катастрофическим экологическим положением привела к глубокому социальному кризису и подъему политической борьбы. В отчаянии пекинские лидеры разыграли националистическую карту, последнее оружие в борьбе за сохранение власти. Необдуманное использование Тайванем лозунгов и символики независимости дали Пекину идеальный повод для оккупации маленького острова. Соединенные Штаты отказались от прямого вмешательства в конфликт, однако их помощь сделала тайваньскую войну гораздо более долгой и трудной, чем китайцы этого ожидали.

Срединная империя наконец объединилась, но какой ценой? Период экономического роста Китая закончился. Не сумев провести экономические реформы, Китай и Индия снова обратились к националистическим лозунгам, чтобы отвлечь внимание граждан от недостатков в действиях правительств и от голодных бунтов, регулярно вспыхивающих в обеих странах, — ситуация с продовольствием стала напоминать Африку. Не исключено, что климат политической напряженности, характеризующий отношения Китая и Индии в результате растущей внутренней напряженности, может привести к открытой войне между двумя ядерными державами, так как у них нет технических и культурных ограничений, которые холодная война накладывала на Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Демографические характеристики двух гигантов Азии позволяют им легко играть, — хотя это скорее свойственно недемократическому Китаю, чем Индии, — с идеей рискнуть жизнями «каких-то» нескольких сот миллионов граждан ради славы своей родины.

В ответ на возникшую ситуацию вся Азия стала вооружаться: камбоджийцы — против тайцев, вьетнамцы — против камбоджийцев... Оказавшись зажатыми в западнe между фундаменталистским, полуталибанским режимом Пакистана, обладающего ядерным оружием, и националистически настроенными и агрессивными Китаем и Индией, японцы отбросили свое историческое отвращение к вооруженной силе и присоединились к азиатскому клубу

ядерных держав. Неустойчивое равновесие взаимного террора в Азии не способствует стабильности региона. Страх стал угрожать экономическому росту, поскольку инвестиции на континенте стали слишком рискованными для международных игроков.

Культуру надежды в Азии постепенно разъело ухудшение экологической ситуации и дестабилизирующее влияние экстремистской религиозной идеологии. Неконтролируемый экономический рост и его экологические последствия усилили культуру страха, подпитываемую увеличением мощности и частоты цунами, наводнений, тайфунов, оползней, а также неконтролируемым загрязнением окружающей среды, тяжелым бременем ложащемся на здравоохранение. В то же время растущая «арабизация» ислама Азии привела к дальнейшей радикализации индуистских фундаменталистов, что, в свою очередь, способствовало распространению религиозной нетерпимости во всей Азии. Даже страны наподобие Сингапура утратили их обаяние, и отношения разных общин (например, китайцев и индусов) стали источником внутренней напряженности.

Замешательство на Западе и смена надежды на страх в Азии сделали Африку жертвой отчаяния, обезлюдения и этнических войн. Китайцы, индусы, американцы и европейцы, занятые собственными проблемами, забыли об Африке. Предоставленные самим себе, африканцы вернулись к прежним методам действий и поведения, которые уже приводили континент к краху. Инфекционные болезни стали эндемичными, уровень нищеты снова начал расти, а разгул коррупции в правительствах достиг невиданных высот.

Даже опыт Южной Африки после преодоления апартеида был обесценен. Из-за неконтролируемого роста насилия большая часть белого населения оставила страну, переехав в основном в Австралию и Новую Зеландию. Что толку в примирении, если оно не сопровождается миром и надеждой на лучшее будущее?

Латинская Америка тоже стала жертвой хаоса в мире. Бразилия и Мексика, два региональных великана, пострадали в результате собственных стратегий развития. Связав

свою судьбу с Соединенными Штатами через Североамериканскую зону свободной торговли, Мексика поставила себя под удар последствий американского кризиса доверия и роста протекционистских и неоиоляционистских настроений. Бразилию же, избравшую стратегию экономической глобализации, отчасти чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, ослабил частичный уход Китая и Индии с мировых рынков из-за внутренних противоречий и военной конфронтации друг с другом.

Единственным победителем в Латинской Америке стал дух популизма в его различных формах, начиная с «постперонизма» и кончая «посткастроизмом». Военные учреждения снова стали играть серьезную роль в политике нескольких латиноамериканских стран, иногда разделяя контроль над страной с картелями наркоторговцев, чья сила выросла как никогда.

У каждой из этих внушающих отчаяние региональных тенденций развития были свои причины. Однако не было ли какой-то общей силы, которая привела к глобальному краху за прошедшие двадцать лет?

Если такая сила и была, ее, пожалуй, можно сформулировать так: столкновение цивилизаций перешло из стадии провокационного интеллектуального построения в стадию самоосуществляющегося пророчества.

Когда Самюэль Хантингтон впервые заговорил о трагической неизбежности столкновения между исламом и Западом в 1993 г., многие сочли его слова преувеличением, если не истерией. Однако в последующие годы целая серия почти неотвратимых событий сделала это столкновение реальным. Теракты 11 сентября не были его причиной, но они определенно способствовали ускорению цепи событий, включавшей в себя недопонимание, просчеты, ошибочные суждения, которые и привели к печальному состоянию дел. И во всем этом процессе страх того, что предвидение Хантингтона окажется верным, стал одной из сил, способствовавших распространению хаоса. «Люди творят историю, но они не знают, какую историю они творят», — писал немецкий философ Гегель.

Поворотной точкой в рассматриваемый период, пожалуй, послужили американские и израильские воздушные бомбардировки Ирана, которые привели к свержению Ахмадинежада. С технической точки зрения они увенчались успехом, однако, как и война в Ираке, привели к политической катастрофе, вызвав всплеск ненависти к Западу во всем мусульманском мире.

Первой жертвой эмоционального всплеска стала демократия Пакистана. Демократические процессы, которые Первез Мушараф столько раз приостанавливал, были слишком слабы и не смогли предотвратить возникновение режима джихадистов, который унаследовал ядерный арсенал Пакистана. Это неизбежно привело к распространению ядерного оружия по всему Ближнему Востоку. Оказавшись перед угрозой фундаментализма с ядерной бомбой, Саудовская Аравия, Египет и Турция тоже обзавелись ядерными арсеналами.

В ответ Запад превратил себя в крепость, отвергая и людей, и идеи с Ближнего Востока, а также все товары, производимые в Азии. Общины иммигрантов по всей Европе подвергаются постоянным нападкам, они стали жертвой вооруженного насилия со стороны коренного населения и запугивания со стороны властей. В 2018 г. иностранцев начинают депортировать десятками тысяч, повторяя тем самым опыт депортации латиноамериканцев из Соединенных Штатов за пять лет до этого. Повсюду Другой стал источником подозрений и страха в одержавшей победу атмосфере антиглобализации.

В культурном смысле это уже не мир надежды Бетховена; мы переселились в трагически звучащую, варварскую атмосферу последних произведений Вагнера. Мир 2025 г. звучит подобно музыке Вагнера и напоминает одновременно творчество французского карикатуриста сербского происхождения Энке Билала (создателя апокалиптических картин насилия), фильм «Бегущий по лезвию бритвы» или трагедии Шекспира (например, «Тит Андроник»), изображающие мир гнева и темных сил хаоса.

К этому времени глобальная ситуация напоминает начало Средних веков в Европе после краха Римской империи,

когда на первый план вышли варвары и начался период насилия, хаоса и беспорядков. Тогда «Мрачное Средневековье» продолжалось почти половину тысячелетия. Сколько будет продолжаться новое мрачное средневековье? Никто этого не знает.

Побеждает надежда

...Ноябрь 2025 года. Тель-Авив, площадь Ицхака Рабина, где ровно 30 лет назад он был убит. В городе проводится крупная международная церемония празднования пятой годовщины заключения мирного договора на Ближнем Востоке, который положил конец более чем семидесятилетней истории насилия и несправедливости. На церемонии присутствуют все члены большого Совета Безопасности ООН, включая Соединенные Штаты, Китай, Индию, Россию, Бразилию и Южную Африку. Недавно объединившийся Евросоюз представляет, разумеется, один посланник.

Возвращаясь на пять лет назад к успешному завершению переговоров по ближневосточному урегулированию, можно сказать, что это было крупным достижением. По правде говоря, после стольких десятилетий конфликта никто не ожидал прорыва в мирном процессе. Решимость положить конец этому противостоянию, возможно, в равной степени была результатом и усталости, и стремления к миру. Израильяне и палестинцы пришли к выводу, что они нужны друг другу, если хотят выжить (в случае Израиля) или жить нормально (в случае палестинцев).

Один за другим необходимые эмоциональные кирпичики мира встали на свои места. Мусульманские страны осознали, что участь палестинцев, мрачной местной группы, к которой они никогда по-настоящему не испытывали теплых чувств, стала слишком опасной помехой на пути прогресса. А израильяне признали наконец, что палестинцы являются неотъемлемой частью их родины. Вслед за Генрихом IV, сказавшим: «Париж стоит миссы», израильяне объявили: «Мир стоит того, чтобы поступиться частью Иерусалима и своих

территорий». Когда палестинцы отказались от своего требования вернуться на прежние места проживания, отказавшись тем самым от культуры абсолютизма в пользу культуры компромиссов, контуры практических договоренностей стали вдруг очевидными, и мир, как ни удивительно, вышел из тупика.

Столь же важными, пожалуй, были преобразования международной общественной среды, где силы, противостоящие миру, неожиданно оказались значительно слабее тех, кто выступал за мир, и отсутствие мира между израильтянами и палестинцами стало анахронизмом. За такое преобразование среды международных отношений главную ответственность несли Соединенные Штаты.

В действительности культура надежды всегда воспринималась населением Америки более естественно, чем культура страха. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после решающих выборов 2008 г. Соединенные Штаты начали снова обретать уверенность в своих силах и преодолели моральную травму, вызванную войной в Ираке. Несколько лет спустя Америка в основном восстановила свою особую мягкую власть в мире как самая уважаемая страна планеты.

В значительной степени такой поворот стал возможным благодаря тому, что руководство Соединенных Штатов решилось признать относительное ослабление влияния своей страны в классическом понимании этого слова (то есть оставаясь, по существу, самой мощной страной на планете). Но сверхдержава времен холодной войны и гипердержава периода после холодной войны смирилась с тем, что она стала одной из множества других стран, пусть даже более мощной, чем остальные. Учитывая болезненные последствия последней имперской авантюры для американского общества и американской экономики, не говоря уже об имидже Америки во всем мире, такая «жертва» оказалась гораздо менее травматичной для американцев, чем того ожидали многие аналитики. А после травмы финансового кризиса 2008 г. многие американцы были готовы отозваться на призыв перестроить экономику страны и ее

инфраструктуру, вместо того чтобы тратить ресурсы на заморские авантюры.

Освободившись от возложенной на себя миссии преобразования мира путем экспорта демократии, американцы обратились к защите окружающей среды со страстью, которую можно объяснить только пуританскими чертами американской культуры. После ратификации исправленной версии токийского протокола Америка стала ведущим защитником «зеленой» политики на планете. К 2015 г. изменение стандартов выхлопа автомобилей, программа ограничения выбросов и торговли квотами на выброс углерода, новые гибридные и электрические автомобили, а также строгая политика в отношении загрязнения воздуха привели к осязаемому сокращению выброса парниковых газов в Соединенных Штатах. В новых отраслях промышленности, рост которых был вызван этими техническими инновациями, появились миллионы новых рабочих мест, что способствовало преодолению кризиса 2008–2010 гг., который по глубине и продолжительности оказался намного слабее предсказаний большинства экономистов.

В более широком смысле можно сказать, что изменилось само отношение Америки к миру. За международными паспортами начали выстраиваться длинные очереди, когда ее граждане с большей, чем прежде, энергией отправились путешествовать. Выбрав президента, корни и интересы которого охватывают несколько культур, американцы начали изучать культуру и языки других стран. Подлинное любопытство и даже соучастие постепенно пришли на смену смеси невежества и презрения, которые обычно характеризовали поведение американцев за рубежом. Мир, в свою очередь, снова начал ценить и уважать качества, сделавшие Америку уникальной страной: приверженность демократии, дух открытости и терпимости, новаторство и свобода — подлинный и позитивный универсализм.

Сумев избежать опасности имперских амбиций и неоизоляционизма, Соединенные Штаты по-прежнему участвуют в жизни всего мира, но теперь они выступают скорее как старший партнер, чем единственный арбитр и полицейский

на планете. Это привело к значительному улучшению имиджа страны на международной арене. Антиамериканская культура, так часто объединявшая европейцев в поисках новой идентичности, стала отступать.

На протяжении нескольких десятилетий XXI века руководство Америки председательствовало на переговорах по «примирению» Соединенных Штатов и Организации Объединенных Наций. Американцы начали понимать необходимость в сильном и законном третейском международном суде в эпоху сложных и взаимозависимых отношений. Только ООН, укрепленная новым Советом Безопасности с более широким представительством и возглавляемая динамичным и харизматичным генеральным секретарем, смогла играть роль такого судьи. При поддержке Соединенных Штатов у нового Генерального секретаря ООН — на этот пост была избрана женщина — появились и эффективно функционирующая бюрократия ООН, и мощные вооруженные силы. Эти «наемники мира», укомплектованные в основном гуркскими полками из Непала (завоевавшими хорошую репутацию благодаря своей стойкости и дисциплине), сумели оказать сдерживающее влияние на потенциальных агрессоров, а также лидеров стран, подумывающих о применении силы против своих народов. Благодаря разумному применению доктрина должного вмешательства сумела пережить злоупотребления периода иракской войны и легла в основу новой системы международного законодательства.

Постепенное формирование и признание нового, многополярного порядка в мире сыграло столь же важную роль в обеспечении относительной стабильности на планете, как и возрождение ООН. Для европейцев это ознаменовало возвращение к нормальной жизни и к тому равновесию силы, которое существовало в Европе с середины XVII и до первой половины XX века. Однако в отличие от старой Европы, новый неформальный «совет великих держав» не был основан на монархических принципах, но это не был и великий союз демократий, который предлагали некоторые американцы в начале 2000-х годов. Был установлен однородный разумный и понятный порядок, поскольку ключевых участников

сообщества объединила приверженность единственному принципу — верховенству права, отправляемого коллективным третейским судьей — Организацией Объединенных Наций, а также общая забота об экологическом благополучии планеты и необходимость решения проблемы глобального потепления. Международный Гаагский трибунал также стал играть жизненно важную, признанную роль гаранта универсальных прав и юридических принципов.

Разумеется, в новом, расширенном Совете Безопасности ООН проявлялись неизбежные различия в идеологии и интересах участников. Но Европу и Соединенные Штаты объединяла общая культура, основанная на демократии. Индия стала мостом между Западом и другими ведущими демократическими державами — Китаем и Россией, которые сумели убедиться в ценности системы, основанной на верховенстве права, как во внутренних делах, так и на международной арене. Появление в китайском режиме нового поколения лидеров, лично не связанных с коммунистическим прошлым, открыло дорогу постепенному введению в стране верховенства права по сингапурскому образцу. После почти двадцатилетнего прямого и косвенного правления Путина Россия также пошла по этому пути, в основном для того, чтобы сохранить деловой климат и конкурентоспособность страны.

Стремясь найти противовес гигантскому соседу, Китаю, Россия пришла к выводу, что ее будущее связано с Западом. Поэтому она сформировала неформальный «клуб» с Евросоюзом, действуя с ним согласованно по большинству крупных проблем и работая над решением экономических вопросов в духе сотрудничества. Такой союз Большой Европы сумел создать новый климат доверия между Россией и ее европейскими соседями, в том числе с Польшей, которую когда-то Россия контролировала. Украина, ставшая членом союза, выполняет роль настоящего моста между Россией и остальной Европой, как это делала Польша пятнадцатью годами раньше.

Что касается самого Евросоюза, то он развивался по пути, довольно сильно расхившемуся с взглядами его

отцов-основателей. К 2020 г. объединенная Европа обрела не только гражданское и экономическое влияние, она превратилась в военную силу ограниченного характера, с которой необходимо было считаться в рамках возрожденного и сбалансированного Атлантического союза. Такой ход событий стал возможен после возвращения Франции в НАТО в 2009 году. Именно европейские силы в структуре НАТО гарантировали претворение в жизнь мирного договора между израильянами и палестинцами, что было вполне естественно, поскольку именно Европа отчасти породила ближневосточные проблемы (из-за политики колониализма и холокоста).

В возрождении Европейского союза решающее значение имели три фактора. Во-первых, привлекательность союза как образца успешной внутренней и внешней политики на мировой арене, о чем свидетельствовало желание соседних стран войти в него. К 2016 г. бывшая Югославия стала членом Евросоюза, ее «разошедшиеся» составные части де-факто объединились под его крышей. После вступления Хорватии в Евросоюз в 2010 г. за ней последовали Сербия, Косово и Черногория, а затем Македония, Босния и даже Албания. Так стремление к миру и процветанию в Европе одержало верх над призраком возврата войны на Балканы. Благоразумие оказало решающее влияние на процесс дальнейшего расширения Евросоюза, а арест военных преступников и обоснованные приговоры Гаагского трибунала продолжили дорогу примирению на всем европейском континенте.

Еще одной демонстрацией привлекательности Европы стало присоединение к Евросоюзу Турции в 2025 году. Развитие турецкой экономики и стабильность демократических институтов сумели убедить враждебно настроенных европейцев, что настало время преодолеть предрассудки прошлого и диктат географического положения стран, чему способствовало также снижение напряженности в отношениях между исламом и западными странами.

Вторым решающим фактором в возрождении Европы стало возобновление европейского институционального

процесса, последовавшее за подписанием в 2010 году пересмотренного Европейского договора. У европейцев теперь есть президент, министр обороны, министр иностранных дел и дипломатическая служба. С течением времени эти события привели к неохотно, но благоразумно подписанному Францией и Великобританией соглашению, по которому они отказались от своих мест в Совете Безопасности ООН в пользу единого представителя Европы.

Третий фактор по своей природе был скорее морально-психологическим. Когда американцы учились сдержанности в новом многополярном мире, европейцы начали обретать чувство энтузиазма и целеустремленность, утраченные за годы холодной войны и десятилетия, последовавшие за ней. Время превосходства Западной Европы (как и Запада) прошло, однако Европа приобрела важную роль на международной арене. Европейцы почувствовали, что настало время сбросить историческую усталость от великих войн XX века. Теперь, когда сообщества союза обновились благодаря притоку новых иммигрантов и интеграционному влиянию новых членов Евросоюза, растущей роли женщин в политической жизни, европейцы оказались готовы расстаться с упадническим духом и с циничным отношением к себе и к миру, а также с коллективным стремлением укрыться от проблем. Европа наконец вернулась.

Разумеется, не остался прежним и список пяти ведущих сил мира: Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Россия, Европейский союз. В него вошли другие мировые державы, в том числе Бразилия, Южная Африка и недавно объединившаяся республика Корея, заставившие считаться с собой. Япония также остается мощной экономической, а в последнее время политической и дипломатической силой.

Остается Африка. Поворотным пунктом в переходе Африки от отчаяния к надежде стали выборы Барака Обамы президентом Соединенных Штатов, за которым последовало проведение Кубка мира по футболу в ЮАР в 2010 году: психологически для всего африканского континента.

нента, как и Олимпиада 2008 г. для Китая, это было незабываемое событие — чемпионат подтвердил новый международный статус континента. Теперь и эта земля, и эти люди что-то значат в мире. Отказавшись от увлечения иностранными моделями и от мечты обрести новую жизнь в Европе, а также давней склонности искать виноватых на стороне и полагаться на других, новое поколение лидеров Африки решило взять судьбу своих стран в собственные руки.

Китайские инвесторы также сыграли важнейшую роль в этом драматическом изменении настроений на континенте. Их интересы и алчность убедили африканцев в том, что они сами должны планировать свою жизнь, если не хотят, чтобы за них в будущем все опять решали другие. С помощью китайской, индийской и японской технологий, но под руководством африканских лидеров континент постепенно стал местом экономических возможностей и роста на планете. Когда ученым удалось добиться ряда крупных успехов в лечении ВИЧ/СПИДа и даже найти вакцину от него, о чем было объявлено в 2011 г., показатели здоровья населения и продолжительность жизни в Африке выросли. К 2018 г. малярия вслед за оспой присоединилась к тем заразным болезням, возбудителей которых теперь можно найти только в научных лабораториях.

Что же касается Латинской Америки, то она, возглавляемая Бразилией и Аргентиной, движется по пути создания аналога Европейского союза в южном полушарии. Меркосур, основанный в 1991 г. как региональная торговая ассоциация, стал полноправной политической единицей. Теперь она называется Латиноамериканский союз, и его объединенные полицейские силы и юридическая система добиваются реальных успехов в борьбе с различными картелями наркоторговцев и левацкими группировками, которые так долго навязывали свои порядки во многих странах континента.

Все эти позитивные изменения в международном климате, без сомнения, помогли проложить дорогу к мирному соглашению между палестинцами и израильтянами. Однако

этому способствовали также особые события регионального масштаба.

Одна из самых символических перемен произошла в Ливане, где логика коллективного процветания пришла на смену логике насилия и раздоров. Присоединение Сирии к сообществу наций после того, как Дамаск при поддержке Соединенных Штатов и Евросоюза решил последовать примеру Триполи, сыграло важную роль в возникновении новой формулы политической жизни в Ливане. За двенадцать месяцев Ливан, Израиль, Палестина, Сирия и Иордания подписали соглашение о таможенном союзе, в котором многие обозреватели видят зачатки Общего рынка Ближнего Востока, напоминающие раннюю фазу в становлении Евросоюза, рынка, который стал важной составной частью Средиземноморского союза, одного из компонентов Евросоюза, создаваемого по инициативе Николя Саркози.

В остальных областях региона также произошли обнадеживающие события. После ухода из Ирака Соединенных Штатов и их союзников и усиления вооруженных сил союзников в Афганистане в 2009–2010 гг. стабильность в обеих странах значительно повысилась. Новая и ответственная дипломатия Тегерана, возникшая после проигравшего выборы президента Ахмадинежада, безусловно, способствовала позитивным переменам, поскольку самоизоляция, на которую Ахмадинежад обрек свою страну, была мудро отвергнута большинством иранского народа. Выдающийся, похожий на азиатский экономический рост в Арабских Эмиратах принес пользу всему региону. Разумные вложения арабских государств в образование, банковскую систему, возобновляемые источники энергии, не говоря уже о культуре, помогли преобразовать атмосферу в регионе. Укрепив социальное равновесие в таких странах, как Египет, они больше каких-либо внешних сил повлияли на формирование логики мира на Ближнем Востоке и послужили живым доказательством того, что ислам и современность совместимы. Они также послужили лучшим ответом Аль-Каиде, поскольку помогли организо-

вать и финансировать сопротивление умеренного ислама фундаменталистам.

К концу десятилетия фундаменталисты повсюду перешли к обороне; их время прошло. Для большинства мусульман мученическая смерть потеряла свою привлекательность, так же как привлекательность анархизма и нигилизма для европейцев в конце XIX и начале XX века.

Короче говоря, теперь мы видим, что, несмотря на — или, точнее, благодаря экономическому кризису, вынудившему страны провести давно назревшие реформы, исторический период, начавшийся около 2009 г., стал временем надежды в истории человечества, а не «концом истории», слишком оптимистично объявленным Ф. Фукуямой в 1991 году. Выражаясь более сдержанно и реалистично, с него начался новый цикл Просвещения. Сколько он продлится? Смогут ли новые причины ненависти и насилия встать на пути человеческого общества? Если да, как на них станут реагировать мировые лидеры? Эти вопросы будут возникать всегда. Однако мы рады тому, что сложившиеся исторические обстоятельства положили начало эпохе надежды. Пока мы в состоянии делать что-то, постараемся сделать как можно больше.

Что делать?

Вполне возможно, что некоторые события из моих вымышленных сценариев произойдут в действительности. Большинство вряд ли произойдет — к счастью в отношении первого сценария и к несчастью для второго. За этими в основном надуманными историями скрывается один вопрос. Если коллективные явления в сфере культуры и национальных отношений можно анализировать через призму психологии и эмоций, можно ли выработать «рецепт для мира», аналогичный медицинским рецептам для лечения человеческой болезни? Можно ли коллективное состояние меланхолии, депрессии, истерии или паранойи вылечить так же, как лечат подобные состояния у отдельных пациентов?

В 1800 г. врач Мари-Франсуа Ксавье Биша, которого иногда называют основателем описательной анатомии, определил жизнь как «совокупность функций, противостоящих смерти». Аналогичным образом можно, наверное, определить мир как совокупность функций, в том числе эмоций, противостоящих войне и насилию. Существуют концепции, образы мышления и чувствования, которые способны существенно понизить вероятность международных конфликтов. Это идеи наподобие должного вмешательства, международного суда по преступлениям против человечности, акцент на «безопасность человека», а не на «национальную безопасность». Все эти составляющие можно описать как гуманитарные средства сдерживания, форму профилактической медицины для системы международных отношений. Их послание потенциальным нарушителям правопорядка совершенно ясно: «Национальный суверенитет вас больше не защитит. Вы будете нести ответственность за ваши преступления перед мировым сообществом».

Разумеется, подобная логика рассуждений слишком широка и даже опасна. Чтобы она действовала, нужны условия, которых на сегодняшний день нет. Что потребуется для создания подобных условий? Иными словами, какие политические стратегии и институциональные механизмы необходимы для укрепления надежды и обуздания или уменьшения страха и унижения?

Самосохранение означает перемены

Чтобы сохранить веру в себя и добиться своих целей, страны и народы, которые надеются играть значительную роль на международной арене, должны принять перемены и признать, что сохранение статус-кво недопустимо.

В знаменитом романе Джузеппе ди Лампедуза «Леопард» князь Салинас, наблюдая прибытие новых гостей на бал, описанием которого завершается книга (сцену эту прославил одноименный фильм), замечает со смесью ностальгической печали и цинизма: «Все должно изме-

ниться, чтобы все осталось по-старому»*. Я хочу сказать нечто прямо противоположное. Положение должно измениться совершенно радикально, если мы не хотим стать свидетелями впадения международного порядка в глубокое и опасное неустойчивое состояние. Национальных лидеров необходимо убедить в том, что сохранение статус-кво — это рецепт катастрофы.

Иногда такой диагноз становится вопросом самосохранения и коллективного выживания. Как я уже сказал, именно инстинкт самосохранения заставил президента де Клерка положить конец апартеиду в Южной Африке.

Большинству стран и культур необходимо измениться, чтобы сохранить надежду и преодолеть страх и унижение. В Азии, например, перемены означают уважение к верховенству права и интеграцию беднейших слоев в общественные процессы. Чтобы по-прежнему воплощать культуру надежды, Китаю и Индии нельзя допускать, чтобы экономический рост подрывался неизбежной социальной и политической нестабильностью, порожденной безнадежным стремлением сохранить статус-кво. Даже Сингапуру необходимо меняться, впустить свежий воздух и дух открытости, если он хочет оставаться привлекательным для региональной и международной элиты, что ему абсолютно необходимо.

Что касается России, она не может пассивно мириться с фатальностью «восточного деспотизма» в какой-либо форме. Русские заслуживают лучшего, и в какой-то момент должны увидеть, что их главной задачей является преодоление разрыва между качеством их художественной и литературной культуры и отсталостью политической культуры. Для России сохранение статус-кво в политике тоже гарантирует упадок.

В случае Запада самосохранение означает возврат к универсальным ценностям. Нам нравится проповедовать пре-

* См.: Giuseppe Tomasi di Lampedusa. — Il Gattopardo (1958). На русском языке: Дж. Ди Лампедуза. Леопард. — М.: Издательство иностранной литературы, 1961.

восходство наших демократических моделей и уникальность нашей системы социальной защищенности по сравнению с Китаем и даже Индией. Однако применяем ли мы наши ценности на практике у себя дома? Будем смотреть на эту проблему всерьез, как бы нас это ни пугало.

Самосохранение имеет разный смысл для Америки и Европы. Для Америки — это возврат к сознанию скромности своей роли на международной арене при одновременном отказе от изоляционизма. То есть принятие того факта, что США станет всего лишь одной из «неотъемлемых стран» среди других. Это означает, что и в смысле обладания жесткой и мягкой властью Америка больше не будет единственной державой в мире.

Все это должно привести к ясным и прямым последствиям. Америке нужно научиться находить равновесие в отношениях с теми, кто является и становится равным ей, — так же, как действовала Европа на протяжении большей части своей современной истории в рамках ее системы равновесия силы. Все это, в свою очередь, подразумевает понимание и принятие культурных различий между странами. Еще довольно долго ничто в этом мире не будет происходить без Америки, однако, как никогда в прошлом, ничто в этом мире Америка не сможет сделать одна.

Чтобы сохранить верность демократической сути своей страны, американской республике необходимо принять изменение и снижение своего международного статуса. Имперское высокомерие чуть не погубило республику. Более сдержанное и честное поведение Америки за рубежом и гораздо более амбициозное в социальном и экологическом смысле поведение дома помогут восстановить международный имидж страны за счет признания того, что меньшее иногда значит большее, и что влияние и сила — не одно и то же. Иными словами, меньшая сила может означать большее влияние.

Для Европы самосохранение и перемены сводятся к возврату к роли игрока на глобальной арене и заботе прежде всего о соблюдении провозглашаемых принципов и норм. Может ли Евросоюз стать привлекательной реальностью для

своих граждан, а не быть исключительно рациональной и в значительной степени обезчеловеченной бюрократической единицей? По-моему, да. Целью европейского проекта должно стать изобретение новой концепции суверенитета для XXI века.

Европа уже не находится в центре мировой истории. Принятие перемен для нее означает признание этой реальности не как трагического рока, а как простого факта истории. В Европе энергия и надежда начнут исходить от тех, у кого сильнее аппетит — от новых стран, от новых иммигрантов, и прежде всего от обретших новую власть женщин. Может ли XXI век стать не только «веком Азии» и «веком идентичности», но и «веком женщин»?

И для Соединенных Штатов, и для Европы «дерзость надежды» (по словам Барака Обамы) должна постепенно сменить «механизмы страха». Чтобы это произошло, крайне важно возрождение веры в ценности и миссию Запада.

Весна Азии необязательно подразумевает зиму Запада. У нас может начаться обильная, зрелая осень, если мы, во-первых, признаем, что эпоха нашего превосходства миновала. Во-вторых, примем успех других и будем учиться у них. В-третьих, — и, пожалуй, это самое важное — мы должны остаться верными нашим ценностям. Наше отличие от других лежит в уникальном универсализме, глубоко укорененном уважении к верховенству права и заботе о сохранении социально-экономического равновесия. Если мы сумеем соединить умеренность и веру в свои ценности, все станет возможным, и осень Запада необязательно будет синонимом упадка Запада.

Уверенность — это то, в чем арабо-исламский мир нуждается больше всего, чтобы преодолеть культуру унижения. Для таких стран, как Египет и Саудовская Аравия, всякая попытка сохранить статус-кво приведет к катастрофе. Замечательные успехи маленьких Арабских Эмиратов — Дубаи и Абу-Даби — разумеется, основаны на наличии уникальных условий — огромных залежей энергоносителей и малочисленного населения. Но они также доказывают, что современность и ислам совместимы, и арабы могут добить-

ся успеха в условиях жесткой конкуренции глобального мира, если они готовы принять перемены и решительно проецировать себя в будущее, а не оставаться во власти прошлого.

Груз памяти и чувство обиды составляют самые трудные препятствия на пути к переменам. За счет крупных инвестиций в образование Арабские Эмираты открывают дорогу переменам, даже если их меркантилистские и потребительские настроения ограничивают рамки надежды.

Для Латинской Америки перемены означают прежде всего преодоление искушения популизмом и углубление единства континента — тогда негативное восприятие идентичности должно остаться позади. У Латинской Америки есть человеческие и физические ресурсы, чтобы стать континентом надежды и возможностей. То же самое относится к Африке.

Ответ нетерпимости — знание

Невежество и нетерпимость идут бок о бок. Мир и примирение возможны только среди народов, которые знают и принимают друг друга. Несмотря на то, что мы живем в эпоху информации, мы понимаем Другого несколько не лучше, чем в прошлом, скорее даже наоборот. Наше сознание заполнено потоком образов и сведений, скорее замутняющих, чем проясняющих наше видение мира. Поскольку мир, в котором мы живем, наверняка будет в дальнейшем усложняться, различные культуры, нации, а также отдельные личности будут все больше размышлять о своей идентичности. Эта одержимость может только усилить влияние эмоций на международную политику.

Но взаимозависимый, сложный мир вокруг нас слишком сложен, чтобы постичь и понять его. Дело тут и в количестве, и в качестве: мы, люди, никогда не были раньше так многочисленны и так разнообразны, столь отличными по образу жизни, ценностям и обстоятельствам. Поэтому возникает естественное искушение избегать сложности, про-

сто игнорируя ее. Именно в этом привлекательность фундаменталистских религиозных верований и крайних проявлений идеологии, сводящих, как правило, сложность мира к простым лозунгам, броским фразам и жестким указаниям.

В таком мире эмоции дают уверенность. «Раз я больше не в состоянии постичь и понять, а тем более контролировать мир, в котором живу, я подчеркиваю свое отличие от других и следую в первую очередь моим эмоциям».

По этой причине изучение эмоций в других культурах будет становиться все более значимым. Другой все чаще будет становиться частью нашего многокультурного общества. Эмоциональные границы мира приобрели такую же важность, как и географические. А эти две границы нельзя приравнять механически. С течением времени картирование эмоций станет столь же закономерным и обязательным, как и географическое картографирование.

Постижение культурного и исторического различия и сходства с Другим и есть самое существенное основание более терпимого мира. По этой причине преподавание истории и культуры следует сделать обязательным в любой программе изучения международных отношений. Формируя свой подход к африканскому континенту, многие ли западные лидеры помнят о его сложной и богатой доколониальной истории? Многие ли действительно способны отбросить несправедливое чувство культурного превосходства, основанное на реальном и полном невежестве? Африка слишком долго оставалась забытым континентом и остается сейчас «чужим» и наименее понимаемым регионом. То же самое, хотя в меньшей степени, касается наших отношений с Азией, Латинской Америкой и даже с такими «знакомыми», но сложными обществами, как российское.

Если знания и минимальное понимание Другого имеют жизненно важное значение, то же самое можно сказать и о знании самих себя. То и другое в действительности глубоко взаимосвязано, поскольку только те общества, которые спокойно относятся к самим себе, находят общий язык с другими. Знание и понимание самих себя особенно важно в случае

ислама, когда невежество в отношении собственной религии и культуры создает богатую почву для самых экстремистских интерпретаций, радикальных извращений и обучению ненависти. В этом смысле проблема ислама — это наша проблема, а культура унижения, пусть даже реального, эксплуатируется и усугубляется именно теми государствами и движениями, которые стремятся использовать невежество в качестве орудия ненависти. Избирательное выдергивание самых нетерпимых формулировок из Корана возможно только потому, что наше знание одного из священных писаний мира поверхностно.

Нам нужны одновременно и оптимизм, и ощущение трагедии

Мой подход к истории основан на глубоком чувстве оптимизма и убежденности в том, что мир необходимо и можно исправить, пусть даже понемногу, но с глубоким осознанием трагической природы исторических процессов. Будучи реалистом в мире идеалистов, я могу также говорить о себе, как об идеалисте в мире реалистов. То, как примирить этику и геополитику, было главной задачей и целью моей профессиональной жизни.

То, что побудило меня писать о геополитике эмоций, по крайней мере отчасти связано с моей биографией. Будучи сыном человека, выжившего в Освенциме, я с рождения усвоил глубокое чувство трагичности жизни. Однако опыт моего отца, выжившего в концентрационном лагере благодаря удаче, энергии и надежде, а также желанию свидетельствовать о том, через что он прошел, придал мне ощущение цели жизни. Главным вопросом, который ставила передо мною жизнь моего отца, вопросом, ответ на который я десятилетиями мучительно искал, состоял в следующем: способен ли мир, в котором мы живем, хотя бы частично достигнуть того, чего достиг мой отец в преодолении страха и унижения, полагаясь на надежду на перекор трагедии?

Это огромная задача — обретение надежды и уверенности в себе, и ее решение зависит прежде всего от состояния ума. Когда Тристану Бернару, французскому драматургу еврейского происхождения, угрожал арест в оккупированном нацистами Париже, он сказал своей жене: «Раньше мы жили в страхе, теперь мы будем жить надеждой».

Чтобы справиться со стоящими перед миром проблемами, ему нужна надежда. Именно таков смысл этой книги.

Благодарности

Над этой книгой работал не я один, она стала настоящим семейным предприятием. Мой старший сын, Лука, помогал мне в моих исследованиях и был моим интеллектуальным и духовным спутником. Мне очень много дала его философская культура, он «подставлял мне руку» всякий раз, когда меня охватывали сомнения. Моя жена, Диана Пинто, читала и перечитывала рукопись в разных ее вариантах. Эта книга многому обязана ее глубоким замечаниям, а также силе и глубине ее аналитического и критического ума. А мой младший сын, Лоран, живший в Сингапуре во время написания этой книги, добавил в нее азиатские штрихи.

Мои американские редакторы, Чарли Конрад и Карл Вебер, сыграли важную роль в редактировании и настройке, если не сказать большего, моего галлического мышления к восприятию американской и международной аудитории. Без них этой книги просто не было бы.

При подготовке книги мне оказал огромную помощь товарищеский обмен мнениями с множеством друзей, коллег и студентов, и прежде всего с Серджио Амаралом, Жан-Клодом Коссераном, Стенли Хоффманном, Роулой Халаф, Минксин Пеем, Махеддином Рауи, Оливье Роем, Шаши Таруром и, конечно же, Мартином Вольфом.

Книга эта, посвященная эмоциям, многому обязана безмятежным, зеленым и мирным пейзажам провинции Манш в Нормандии, в которой она в основном была написана, — на родине Алексиса де Токвилля, а также месте одного из самых кровопролитных сражений во время открытия второго фронта в 1944 г. более шестидесяти лет назад. Месяцы моей работы над книгой скрашивали не только мирные сельские пейзажи, но и музыка Бетховена, служившая сопровождением в моей работе, придавая ей надежду и помогая преодолеть опасности страха и унижения.

Избранная библиография

- Allen, Mark.* Arabs. — London: Continuum, 2006.
- Appadurai, Arjun.* Fear of Small Numbers, An Essay on the Geography of Anger. Durham and London: Duke University Press, 2006.
- Ayalon, David.* Le phenomene mamelouk dans l'orient islamique. Paris: PUF, 1996.
- Barber, Benjamin R.* Jihad vs. McWorld: Terrorisms Challenge to Democracy. New York: Ballantine Books, 2001.
- Brzezinski, Zbigniew.* Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower. New York: Basic Books, 2007.
- Buruma, Ian.* Inventing Japan: From Empire to Economic Miracle. London: Orion Books, 2005.
- Buruma, Ian and Margalit Avishai.* Occidentalism: The West in the Eyes of Its Enemies. New York: Penguin Books, 2004.
- Cooper, Robert.* The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-first Century. New York: Atlantic Monthly Press, 2003.
- Dowden, Richard.* Africa: Altered States, Ordinary Miracles. London: Portobello Books, 2008.
- Drissi, Amar and Thierry de Montbrial.* Dubai: The New Arab Dream. Paris: IFRI, 2006.
- Etzioni, Amitai.* From Empire to Community. New York: Palgrave Macmillan, 2004.

- Ferguson, Niall.* The War of the World: History's Age of Hatred. London: Penguin Books, 2006.
- Friedman, Thomas L.* The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1999.
- Friedman, Thomas L.* The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005.
- Gelber, Harry G.* Dragon and the Foreign Devils: China and the World, 1100 B.C. to the Present. New York: Walker & Company, 2007.
- Gordon, Philip H.* Winning the Right War: The Path to Security for America and the World. New York: Times Books, 2007.
- Habermas, Jiirgen.* The Divided West. Cambridge: Polity Press, 2006.
- Hassner, Pierre.* La violence et la paix: De la bombe atomique au nettoyage ethnique. Paris: Editions Esprit, 1995.
- Hirsi, Ali Ayaan.* The Caged Virgin: A Muslim Woman's Cry for Reason. London: Pocket Books, 2004.
- Hoffmann, Stanley.* Duties Beyond Borders: On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1981.
- Hopkins, A. G., ed.* Globalization in World History. New York and London: WW Norton & Company, 2002.
- Huntington, Samuel P.* The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. New York: Simon & Schuster, 1996.
- Huntington, Samuel P.* Who Are We? America's Great Debate. London: Simon & Schuster, 2004.
- Husein, Ed.* The Islamist: Why I Joined Radical Islam in Britain, What I Saw Inside and Why I Left. London: Penguin Books, 2007.
- Hutton, Will.* The Writing on the Wall: China and the West in the 21st Century. London: Little, Brown, 2007.

- Kagan, Robert.* The Return of History and the End of Dreams. New York: Alfred A. Knopf, 2008.
- Kaplan, Robert D.* The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War. New York: Vintage Books, 2001.
- Kassir, Samir.* Being Arab. London and New York: Verso, 2006.
- Koch, Richard, and Chris Smith.* Suicide of the West. London and New York: Continuum, 2006.
- Kurlantzick, Joshua.* Charm Offensive: How China's Soft Power Is Transforming the World. New Haven, Conn., and London: Yale University Press, 2007.
- Laurence, Jonathan, and Justin Vansse.* Integrating Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary France. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006.
- Lewis, Bernard.* From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East. London: Orion Books, 2005.
- Lewis, Bernard.* The Middle East: A Brief History of the Last 2000 Years. New York: Scribner, 1995.
- Lovell, Julia.* The Great Wall: China Against the World, 1000 BC-AD 2000. London: Atlantic Books, 2006.
- Luce, Edward.* In Spite of the Gods: The Strange Rise of Modern India. London: Little, Brown, 2006.
- Mahbubani, Kishore.* Beyond the Age of Innocence: Rebuilding Trust Between America and the World. New York: Public Affairs, 2005.
- Mahbubani, Kishore.* The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East. New York: Public Affairs, 2008.
- Nafisi, Azar.* Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books. New York: Random House, 2003.
- Obama, Barack.* The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream. New York: Canongate, 2006.

- Pamuk, Orhan.* Istanbul: Memories of a City. — London: Faber and Faber, 2005.
- Podhoretz, Norman.* World War IV: The Long Struggle Against Islamofascism. New York: Doubleday, 2007.
- Prestowitz, Clyde.* Rogue Nation: American Unilateralism and the Failure of Good Intentions. New York: Basic Books, 2003.
- Richardson, Louise.* What Terrorists Want: Understanding the Terrorist Threat. London: John Murray, 2006.
- Roy, Olivier.* Les illusions du 11 septembre: Le debat strategique face au terrorisme. Paris: La Republique des Idees, Seuil, 2002.
- Said, Edward W.* Culture and Imperialism. New York: Vintage Books, 1994.
- Said, Edward W.* Out of Place, A Memoir. London: Granta Books, 2000.
- Sen, Amartya.* The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity. London: Allen Lane/Penguin Books, 2005.
- Shlaim, Avi.* The Iron Wall: Israel and the Arab World. London: Penguin Books, 2001.
- Slaughter, Anne-Marie.* The Idea That Is America: Keeping Faith with Our Values in a Dangerous World. New York: Basic Books, 2007.
- Smith, Rupert.* The Utility of Force: The Art of War in the Modern World. London: Penguin Books, 2006.
- Smith, Tony.* A Pact with the Devil: Washington's Bid for World Supremacy and the Betrayal of the American Promise. New York: Routledge, 2007.
- Stearns, Peter N.* American Fear: The Causes and Consequences of High Anxiety. London and New York: Routledge, 2006.
- Tharoor, Shashi.* India: From Midnight to the Millennium. New York: Arcade Publishing, 1997.

Trenin, Dmitri. The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization. Washington, D.C., and Moscow: Carnegie Endowment for International Peace, 2002.

Trofimov, Yaroslav. The Siege of Mecca: The Forgotten Uprising in Islam's Holiest Shrine and the Birth of Al Qaeda. New York: Doubleday, 2007.

Yarma, Pavan K. Being Indian: Inside the Real India. London: Arrow Books, 2006.

Weapons of Mass Destruction Commission. Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms, 2006.

Wolf, Martin. Why Globalization Works. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2004.

Именной указатель

Алаа аль-Асуани 87

Амин, Галяль 86

Амир, Йигал 113

Арон, Раймон 21

Арора, Маниш 51

Асснер, Пьер 21

Ататюрк, Кемаль 88, 140

Аун Сан Су Чжи 56

Ахмадинежад, Махмуд 62,
84, 167, 186, 195

Ашока, император Индии 67

Башир, Омар аль-Хасан 62

Бен-Гурион, Давид 169

Бен Ладен, Усама 80

Бернар, Тристан 204

Бетховен, Людвиг ван
142, 147, 186, 205

Бжезинский, Збигнев 62

Билал, Энке 186

Билле, Аугуст 150

Бисмарк, Отто Эдуард

Леопольд фон 59

Биша, Мари-Франсуа Ксавье
197

Боббит, Филипп 113

Боден, Жан 31

Бодрийяр, Жан 112

Бонхёффер, Дитрих 28

Бродель, Фернан 171

Брукс, Дэвид 151

Бурума, Иен 72

Буш, Джордж У. 25, 35, 60,

70, 147-149, 155, 156, 160

Буш, Джордж, Х.У. 79, 157

Вагнер, Рихард 186

Валери, Поль 85

Варма, Паван К. 70

Вейсс, Джастин 136

Вильгельм II, император
Германии 59

Вольтер, Мари Франсуа 102

Вольф, Мартин 205

Ганди, Мохандас К. «Махатма»
67, 77

Гат, Азар 60
 Гегель, Георг 20, 185
 Гелбер, Гарри Дж. 58, 63
 Геремек, Бронислав 131
 Гизо, Франсуа 60
 Гитлер, Адольф 9, 31
 Гоббс, Томас 20
 Горбачев, Михаил 156, 166
 Гордон, Филип Х. 148

Далай-Лама 61
 Де Голль, Шарль 77, 94, 164
 Делор, Жак 142
 Джекоби, Тамар 155
 Джиндал, Пиюш «Бобби» 70
 Джонсон-Серлиф, Элен 173
 Дэн Сяопин 24, 25

Закариа, Фарид 152, 153

Кагаме, Поль 173
 Кант, Иммануил 17, 20
 Картер, Джеймс 62
 Кассир, Самир 115
 Кастро, Фидель 176
 Кеннеди, Джон Ф. 143, 160
 Кеннеди, Пол 144, 181
 Кеннеди, Эдвард М. 155
 Клерк, Фредерик Виллем де 172, 198

Коидзуми, Дзюньитиро 74, 75
 Коль, Гельмут 129
 Кон-Бендит, Даниель 149
 Коэн, Даниэль 23
 Кристоф, Николас 170, 173

Лакер, Уолтер 100, 136
 Лампедуза, Джузеппе ди 197, 198
 Лафонтен, Жан де 127
 Ле Пен, Жан-Мари 136
 Левайн, Марк 101
 Ли Куан Ю 24, 173
 Лоренс, Джонатан 136
 Лула да Сильва, Луис Инасиу 175
 Льюис, Бернард 87, 95, 136
 Люс Эдвард 49, 69, 71

Маатаи, Вангари 173
 Маккейн, Джон 143
 Макклой, Джон 148
 Мандела, Нельсон 172
 Матуб, Луне 103
 Махатхир бен Мохаммад 44
 Махфуз, Нагиб 102
 Медведев, Дмитрий 9, 166
 Мехта, Сукету 15
 Миттеран, Франсуа 131, 132
 Моизи, Жюль 144

Мосаддык, Мохаммед 167
 Мубарак, Хосни 91, 103
 Мугабе, Роберт 55, 62
 Мушараф, Первез 186

Наполеон I, император Франции 16, 87
 Наполеон III, император Франции 50
 Насер, Гамаль Абдель 90, 103, 104
 Насралла, Хасан 84
 Неру, Джавахарлал 68
 Нинан, Т.Н. 71

Обама, Барак 8, 9, 10, 11, 47, 123, 138, 143, 148, 154, 155, 193, 200

Памук, Орхан 103
 Перл, Ричард 148
 Пёрселл, Генри 19
 Пётр Великий 164
 Пиночет Угарте, Аугусто 175
 Пискатори, Джеймс 97
 Платон 20
 Путин, Владимир 9, 163, 164, 166, 191
 Пушкин, Александр 164

Рабин, Ицхак 113, 173, 179, 187

Райт, Лоуренс 80
 Рамеш, Джайрам 52
 Рассел, Алек 48
 Рейган, Рональд 146
 Ростропович, Мстислав 8
 Ротко, Марк 103
 Руа, Оливье 96
 Рузвельт, Франклин Д. 126
 Руссо, Жан-Жак 17

Садат, Анвар, аль 90, 91, 103, 104
 Саид, Эдвард 104, 105
 Саркози, Николая 136, 138, 139, 155, 159, 171, 195
 Сен, Амартия 67
 Сингх, Манмохан 68
 Слотер, Анн-Мари 160
 Слекмен, Майкл 118, 119
 Смит, Тони 159
 Спилберг, Стивен 151
 Спиноза, Барух 30
 Сталин, Иосиф 39, 129
 Стирнс, Питер Н. 124
 Сюбао, Дин 48

Тойнби, Арнолд 85

Урибе, Альваро 175

Фаллачи, Ориана 136

- Фридман, Томас 22
Фрам, Дэвид 148
Фукуяма, Френсис 17, 20, 196
- Хамид, Мохсин 107
Хантингтон, Самюэль 20, 34, 111, 185
Хасан II, король Марокко 14
Хирси, Аймаан Али 98
Хоффман, Стенли 11, 20, 21, 205
Ху Цзиньтао 57
Хурани, Альберт 86
- Чавес, Уго 176
Чаушеску, Николае 163
Черчилль, Уинстон 27, 66, 125
Чжан Цзыи 51
- Шариатмадари, Хоссейн 114
Шпенглер, Освальд 85
- Эрдоган, Реджеп Тайип 97
- Яковлев, Александр 156
Ясин, Катеб 102

Библиотека Московской школы
политических исследований

Доминик Моизи

Геополитика эмоций
Как культуры страха, унижения
и надежды трансформируют мир

Компьютерная верстка О. Козак

Подписано в печать 14.09.2010. Формат издания 60x90^{1/16}.
Печ. л. 13,5. Тираж 1000 экз. Заказ №.

Московская школа политических исследований
127006, Москва, Старопименовский пер., д. 11/6, стр. 1.

e-mail: mmps@mmps.su
<http://www.mmps.su>